

Лучший друг Геббельса

Это было в начале шестидесятых, когда и Гагарин уже в космос слетать успел, и Хрущов сталинизм развенчал и всю страну кукурузой засеял, когда жизнь в целом вошла в более-менее нормальное русло, а народ задышал, наконец, относительно свободно в ожидании приближающегося коммунизма. И в это, вполне уже мирное время, за Рылько приезжает из города КГБ: забирать! Произошло это среди бела дня. На пороге его кабинета возникла растерянная секретарша Валя Солдатенкова, оттесняемая в сторону товарищами в штатском, и успела лишь сказать: «Тут люди к вам, Петр Дмитриевич...». «Люди» тут же выставили Валу за дверь, предъявили Рылько свои удостоверения сотрудников КГБ и потребовали, чтобы Петр Дмитриевич не шевелился и чтобы руки его все время оставались на виду. В этой позе, медленно, без резких движений, ему приказали отодвинуться от письменного стола. Один из чекистов держал руку за пазухой, другой сразу же выдвинул нижний боковой ящик справа и полез под бумаги. Нащупал там что-то, вытащил, стоя спиной к Рылько, показал подельнику и сказал: «Есть. Все соответствует».

– Пройдемте с нами, гражданин Рылько,– приказал старший чекист,– Вы задержаны. Рылько вывели из техникума (хорошо, что без наручников, чтобы не сеять панику среди учащихся), посадили в «воронок» и отвезли в Брянское областное управление госбезопасности. Рылько никак не мог сообразить, в чем дело и что за страшный компромат мог обнаружиться в его мирном, директорском письменном столе – компромат, найденный с такой поразительной точностью, как будто чекисты заранее знали, где лежит то, что их интересует. Долго томиться Рылько, однако, не пришлось: к допросу приступили немедленно. Первый заданный ему вопрос звучал так: «Где и при каких обстоятельствах Вы познакомились с Геббельсом?». Сразу после этого вопроса Рылько начал хохотать: он уже все понял. – «Прекратите истерику! Это Вам не поможет!», – услышал он возле уха, и расхохотался еще больше. – «Принесите ему воды», – распорядился дознаватель и строго сказал Петру Дмитриевичу: «Советую Вам успокоиться и рассказать нам всю правду. Сотрудничество со следствием Вам зачтется. Итак, повторяю вопрос: когда и при каких обстоятельствах Вы вошли в контакт с гитлеровским министром,

негодяем Геббельсом?». Все еще сотрясаемый приступами хохота, Рылько молчал, пытаясь взять себя в руки, следовательно между тем спросил его:

– Вы будете сотрудничать со следствием?

Кое-как наконец успокоившись, Рылько кивнул: «Буду сотрудничать».

– Говорите!

– Все очень просто, – объяснил Рылько, – то была инициатива самого Геббельса, а не моя. Тут вот такая штука: директор театра прислал две контрамарки, и мы поехали вечером на спектакль. С супругой. Вот и все. А после спектакля Геббельс сам вышел к нам в зал поздороваться. После чего мы пошли к нему в уборную, выпили водки и сфотографировались.

– Вы пили и фотографировались с Геббельсом в туалете?

– Нет, в артистической уборной, это не туалет. А после он прислал мне фотографию с дружеской надписью: «Дорогому Петру Дмитриевичу Рылько от Геббельса». Вы не обратили внимания, как здорово Геббельс владеет русским языком? В совершенстве, без единой орфографической ошибки! И русский почерк у него отличный.

– Про почерк – потом. Кто может все это подтвердить? – спросил следователь с каменным лицом, – но предупреждаю Вас сразу: жена – не свидетель!».

– Да он сам, Геббельс, и подтвердит.

– Это не самое подходящее место для шуток, Петр Дмитриевич. Геббельс давно мертв.

– Как же я тогда мог с ним сфотографироваться на память, если он мертв? – съязвил Рылько, – ничего он не мертв, я с ним на днях разговаривал. Они с женой в Кокино за огурцами приезжали.

– Что-о-о?

– Ну да, за огурцами. Ну, еще мяса я им распорядился выписать десять килограмм.

– Геббельсу?

– Ну да, Геббельсу. Правда, актер Зимницкий в этом спектакле сейчас уже не играет, в этом сезоне театр ставит исключительно Островского. И кого Зимницкий там играет – я не знаю. Но то, что он за огурцами в Кокино приезжал – это точно! Могу корешок квитанции предъявить.

Потрясенный следователь долго пытался прочесть потайные мысли геббельсова друга, а потом, не прочтя их, уточнил:

– То есть, другими словами, Вы утверждаете, товарищ Рылько, что на фотографии изображен не сам Геббельс, а наш брянский актер Зимницкий в роли Геббельса?

– Готов под этим утверждением подписаться тридцать три раза.

– Тридцать три не надо, а под показаниями расписаться Вам действительно придется, Петр Дмитриевич. Ну и... Вы свободны пока. Мы проверим Вашу версию, и если Вы сказали правду, то фотография Вам будет возвращена... Почему Вы, кстати, мясо у себя в хозяйстве выписываете? А огурцы?

Вот такие были вежливые чекисты в послесталинское время! Больше по этому вопросу передовой отряд партии Петра Рылько не беспокоил. Фотографию ему, правда, тоже не вернули. А загадку о том, откуда чекисты так точно знали местоположение крамольной фотографии в ящике, о существовании которой сам Рылько давно позабыл, Петр Дмитриевич разгадал в тот миг, когда заведующий клубом Болдырев пришел к нему однажды и сообщил, что обнаружил на мундшукке оркестрового кларнета что-то липкое: возможно, это яд. А еще из резонатора тромбона высыпался песок. Диверсия налицо: кто-то хочет, чтобы при исполнении государственного гимна тромбон сфальшивил. И тогда Рылько осенило: как-то, срочно уезжая в Москву, он попросил Болдырева, поскольку секретарь Валя была в отпуске, подежурить у телефона в его кабинете и скоординировать заезд директоров техникумов на всесоюзную конференцию. И отдал Болдыреву ключи от кабинета. Теперь, прослушав сообщение про яд в кларнете, Рылько кивнул и пообещал Болдыреву: «Меры будут приняты, Андрей Егорович», а затем приблизил лицо к Болдыреву вплотную и заговорщицким тоном, сквозь зубы, не шевеля губами произнес, быстро оглянувшись по сторонам:

– Геббельс передает Вам пламенный партийный привет! Он жив и скоро выйдет с Вами на связь. Вы опознаете его по вопросу: «Вы не находили мою фотографию в нижнем ящике стола?». Ваш ответ: «Ее изъяла госбезопасность». Повторите!

– ... И... иза... изваляла гос... опасность...– синяя губами, прошептал завклубом и выбежал вон из директорского кабинета, опрокинув стул.

Свидетели видели, как он промчался в клуб, где заперся у себя и лихорадочно крутил диск телефона. Через неделю Болдырев уволился по семейным обстоятельствам и исчез из Кокино. Говорили, что он отправился поднимать народную культуру в соседней области.

Утопленник

Десна петляет в наших местах по широкой пойме между высокой, правобережной, холмистой стороной и низким левобережьем, занятым Брянским лесом от восточного горизонта до южного. В младшем школьном возрасте я думал про Брянский лес, что это уже тайга там, за рекой начинается – с хищными тиграми и огромными медведями. Со временем оказалось еще интересней. Там всю войну пряталась, оказывается, целая партизанская страна со столицей под названием Смилеж. Оттуда партизаны совершали отчаянно смелые вылазки, подрывали мосты, пускали под откос вражеские эшелоны и изрядно портили фашистам кровь и настроение. Из Смилежа на Большую землю – с ранеными, и обратно – с наградами – летали самолеты, и никакие каратели не могли добраться до партизан и уничтожить их. Так нам говорили в школе, и к нам на классные вечера приходили партизанские ветераны, которые это подтверждали. А ещё невероятно умные старшеклассники, которые уже изучали физику и анатомию рассказывали, что в самых глухих местах Брянского леса все еще обитают толстые партизаны, которые не знают, что война уже кончилась, и изредка выходят к Голубому мосту, чтобы по привычке подорвать его. Чтобы не допустить этого, у моста до сих пор стоит, дескать, вооруженная охрана (она действительно там стояла). Из-за охраны этой взорвать партизанам мост никак не удастся и чтобы не тащить взрывчатку сто километров обратно в глубь лесов, они глушат в Десне рыбу. Рыбохрана за ними давно уже гоняется, чтобы объяснить им, что Гитлер разбит, Сталин умер и можно выходить из леса и жить мирно. Такую вот лапшу вешали нам на уши трепачи-восьмиклассники. Маленькими мы верили, а потом стали нагло отвечать: «Бряхня!». А когда еще подросли, то уже и сами втрюхивали эту сказку первачкам. Так что Брянский лес за Десной занимал много места в культурной жизни и уличном эпосе нашего юного поколения.

Пойма Десны представляет собой главный источник пропитания для коровок всех окрестных хозяйств. Так было испокон веков: луг был поделен между людьми и кормил скотинку. Такое положение сохранялось и при советской власти, с той лишь разницей, что теперь пойму поделили между колхозами и совхозами, и одним досталась правая сторона Десны, а другим – левая, между рекой и лесом. Техникуму, вместе с некоторыми другими хозяйствами, достался левый берег, за рекой. И вот хозяйства эти построили вкладчину трехбаркасный паром через Десну, который все лето мотылялся туда-сюда под скрип железного троса и деревянного костыля бывшего моряка, деда Семена – в одном лице капитана, штурмана, лоцмана и «боцмана пердячего пара» этого вверенного ему стратегического плавсредства. За рупь можно было переправиться посторонним, например, городским рыбакам, а свои переправлялись бесплатно. Мы, пацанва, были, разумеется, свои, но с оговоркой: когда дед Семен был не в духе, он нас на паром не пускал, чтоб не путались, якобы, у коней под ногами. Пацанве не оставалось ничего другого, как переплывать Десну вручную. Мы плыли по-собачьи рядом с паромом, хлебая воду и кашляя, толкая перед собой свои самодельные удочки и ругая деда Семена свежими словами, только что выученными на берегу у косарей и сеновозов; Семен же, коварный морской козел, в ответ лишь ухмылялся, внимательно наблюдая за нами, да потягивал себе свой трос, покуривая углом рта кусок газеты «Правда» и часто сплевывая в нашу сторону. Зато мы все научились плавать, и кто по сей день не утонул, тот должен быть благодарен Семену за жизненно-важную выучку.

Но то – летом. По осени же баркасы расцепляли и поодиночке вытаскивали на высокий берег, чтобы их не подавило льдом зимой и не снесло половодьем по весне. А зимой требовалось дожидаться пока река станет и лед окрепнет, после чего начинали возить лошадами сено на фермы с той стороны Десны по «дороге жизни» – санной дороге, ведущей к стогам от деревни Слобода через луг вдоль речушки Волосовки, потом по льду реки и снова по лугу.

Это просто удивительно, сколько может тащить рыжая колхозная лошадка, понуро кивая головой своим однообразным мыслям. Каковы они, интересно? Может, такие: «Иду вот. Ноги болят. Бока болят. Овса хочется. Сейчас опять хлестанет кнутом, подлец. Вон там встану перед лужей и не

пойду дальше. Ох, хлестанет. Хоть бы сдохнуть скорей...». Нет, насчет сдохнуть – это слишком сложно. Чтобы мечтать сдохнуть надо сначала осознавать, что ты живешь. А если сознание отсутствует, то и о смерти мечтать не приходится. Так что кивает лошадка не от мыслей, а просто с натуги. Потому что стог возвышается над ней на четыре ее роста, да еще и пацан деревенский иной раз не рядом идет, а сверху сидит, на сене, а то и мужик там кемарит или песню голосит, коли навеселе. Тяжело.

Но какой бы огромный воз не умела тащить рыжая крестьянская лошадка во имя будущей светлой жизни, а трактор-молодец все равно волок в десять раз больше. И такой вот гусеничный трактор – первый после окончания войны – появился у кокинского техникума в начале зимы сорок шестого года. Неудивительно поэтому, что за сеном на луг, как с парада в бой, трактор был отправлен прямо с борта притащившего его, изможденного и укатанного до полусмерти зеленого грузовичка. Гришка Софронов, славный партизан, самолично привез этот трактор из Челябинска. На тракториста Гришка успел выучиться еще до войны, но на фронт не попал по причине плоскостопия и заикания и потому всю войну успешно пропартизанил, пуская под откос вражеские поезда и успевая после улепетнуть нестроевым шагом по знакомым с детства кустам и рельефам в дремучий Брянский лес. По завершении боевых действий истребитель фашистов Гришка Софронов вышел из леса былинным героем и стремительным юболозом в одном лице, обладающим к тому же очень высоким самомнением специалиста как по части профессии, так и своего нового, послевоенного хобби.

И вот теперь, стащив трактор с грузовичка и гипнотизируя зрителей – главным образом зрительниц – всевозможными ответственными позами главного тракториста среднерусской возвышенности, Гришка с оглушительным треском запустил двигатель, отчего по всему Кокино в ужасе завизжали собаки, рванул рычаги управления, трижды крутанулся на месте, подобно молодому тигру, гоняющемуся за собственным хвостом, роль которого играл в данном случае стальной трос, закрепленный позади трактора, и устремился вон с хоздвора – цеплять волокушу и мчаться на луг, за горой сена такой высоты, чтобы её видно было как минимум с Марса. Ну и, конечно, из подлой Америки, задумавшей удушить Советский Союз – как писала недавно газета «Известия» – в ледяных объятиях холодной войны. Щас вам, удушители! Расступись, черти

полосатые: Гришка едет! А это значит, что война не будет холодной. Война будет горячей!

Трактор ушел на луг в полдень, а в два часа дня Гришка, в совершенно несусветном виде – на синих ногах, в дымящихся трусах и с сосульками на побелевших ушах ворвался к директору Рылько в кабинет и, щелкая обледенелыми глазницами, застучал невнятной зубовой дробью, как дятел по крышке, как телеграфист бронепоезда, летящего в пропасть: «Ут...-ут...-ут...-ут...- утоп... оп..., топ...топ... утоп... так... рак... тор... тот... трак...тор..! Патты...паттыт... паттыр.. патрасу в-ввы... выббыб... выббыбрался: ут...ут...ут... утоп... тыт... тот... тыр... тык.. так... трак...тык...тор! Ут... тот... ут... топ... Па тыт... па троп... па трасу ко...ко...койкак вы... вы... вы...ка...ка... выка...раба...кака... какался ссыпа... с-пад ввы...вады... а то б ппы... пад лед...дды...дды...ддык и ут... ут... ут... утя... утя... нны... нуло, ух...уххы... ухыватился за тты... трос... па... тты... трасу... ввы... вылез атоб... ут...ут... утоп...»...

Не сразу дошло до Рылько, что трактор проломил лед и затонул в Десне, и долго еще не мог он понять, куда и зачем Гришка лез по тросу, пока не сообразил, что Гришка рассказывает ему о своем чудесном спасении из-под льда. На помощь пришел завхоз Фролов – старая гвардия! –, который, еще из гардероба заметив бегущего по аллее, трясущего сосульками Гришку, почуял неладное. Он молниеносно, в режиме «скорой помощи» вбежал в кабинет директора с бутылкой самогона и надетым на нее граненым стаканом в руке. Пыж газетной затычки был у него уже в зубах. Лишь после того, как тракторист проглотил первый стакан первача и показал жестами, что нужна немедленная вторая порция, и после этой порции и еще одной, столь же экстренной, Гришка схватился за голову и запричитал более-менее вразумительно и уже почти не заикаясь:

«Ппы... п-пассан... па санным ссы... с-слядам я ийшол, П-пперДмич! Ттыт...точно п-па к-калхозным ссы... с-слядам ийшол. По йим жа ппы... п-пад лед и угы...угодил п-пы зы-закону Арых...Арым...Арымхимеда! Ссы...ссы... с-строга па йим жа и увайшол ппы... п-пад лед! Ни сса.. ни ссантиметра ни у в к-к...ни у в к-какую старану не отк-кы...кло... не отклонился! Вот в-в... вот в-вам ххы...хрест, П-пперДмич!...чче...чче...ч-чесное ссы..с-сталинское, штоб я ссы.. сы-сдох, П-пперДмич!...».

– Там, где проходит легкая лошадка – тяжелый трактор пройдет не обязательно, – философски заметил опытный по жизни завхоз Фролов.

Через несколько минут безумного вида делегация, состоящая из Гришки-тракториста, засунутого в запасной, «обкомовский» костюм Рылько, с брюками, затянутыми подмышками, и пиджаком, развевающимся чапаевской буркой (костюм директора оказался велик Гришке размеров на пять), завхоза Фролова в шинели, иссеченной вдоль и поперек шрапнелями судьбы и, наконец, самого Рылько, натягивающего на бегу первый попавшийся под руку студенческий ватник из гардероба, громко протестующий треском швов, выскочила на техникумовское крыльцо, дико озираясь. Возле крыльца меланхолично жевал пучок сена мерин Плутон, только что притащивший из города сани с учебными пособиями. Конь подозрительно уставился на заполошную банду, не ожидая от нее ничего хорошего. И опытный мерин был прав в своих подозрениях: через секунду, не дожидаясь дяди Володи-лысого, законного плутоноведа, ушедшего наверх, в кабинет зоологии с портретами передовых коров молочных пород на плече и чучелом белого гуся подмышкой, его стегнул вожжами вреднящий Фролов, имеющий только одну руку, но бьющий ею без жалости. Этот противный Фролов не просто огрел Плутона, но еще и закричал оскорбительные слова: «Ппашол, давай! Давай-давай-ппашол-ппашол, черт рыжий!». И это вместо уважительного «Н-но-а, холера!», как положено. А порядочный мерин вовсе не обязан понимать всякую непрофессиональную феню из уст посторонних, поэтому Плутон выпятил нижнюю губу, фыркнул презрительно и ни за что бы не сдвинулся с места, если бы не страшная черная шляпа, прыгнувшая в сани вместе с головой директора Рылько. Черных шляп конь боялся до ужаса – он боялся их больше даже, чем ночных волков. С черными шляпами была связана какая-то страшная тайна. У директора мясокомбината в городе была точно такая же или очень похожая на нее. А с мясокомбинатом было ох как нечисто: многие, очень многие друзья и знакомые Плутона ушли туда и больше не вернулись. Куда они подевались? Об этом конь размышлял много и напряженно, как в стойле, так и на работе, особенно, когда дорога шла под горку и думалось легко и когда не сбывало с мысли частое и противное бормотание дяди Володи-лысого: «От работы конидохнуть...». Дядя Володя при этом имел в виду прежде всего самого себя, разумеется, но Плутон

принимал его слова на свой счет и огорченно бил себя хвостом по бокам. А кому охота подохнуть от работы, спрашивается?

Короче, черная шляпа сделала свое черное дело, и мерин с вопящим грузом в санях приступил к неторопливому движению в сторону скользкой дороги, ведущей к деснянским лугам. Чего они там кричали, его жестокие эксплуататоры – это было Плутону без интереса. Тем более, что он не знал, кто такой Архимед, про которого как раз разорялся тракторист, пытаясь свалить вину за утопление трактора с себя на подлого древнего грека. Фролов старался при этом перекричать Гришку с его бредовой архимедятиной. Фролов и сам изучал когда-то баллистику летящих снарядов и умел умножать в столбик на число «пи» не хуже того Пифагора, который это число изобрел, поэтому ни древнего Архимеда, ни современно блажащего всякие глупости Гришку завхоз признавать за авторитетов не собирался. Об этом и другом, более сиюминутном и актуальном тщетно пытался Фролов докричаться до Гришкиного сознания, замутненного горем и самогонкой. Фролов и сам успел хлебнуть пару раз в процессе возвращения к теплотворной жизни утопленника, и потому готов был теперь кричать в экстазе на Гришку вплоть до мордобития. Ведь Гришка, скотина, относился отныне к категории натуральных вредителей и саботажников народного хозяйства, так как он утопил драгоценный трактор, на котором весь техникум рассчитывал когда-нибудь под красным флагом и с медным оркестром въехать в коммунизм. И Фролов кричал Гришке: «Привык паровозы немецкие под откос пущать, подлюка! А это ведь советский трактор был! Что, спутал малость? А еще Архимеда сюда приплел, шпиндель ты синезопый! Да ты спасибо сказать должен тому водяному Архимеду, что ты вообще со дна речного всплыл по закону выталкивающих сосудов – как говно в проруби! Я тебе, Гришка, такой личный мой приговор объявляю: лучше б это ты залился вместо трактора, а трактор прибеги доложить про твою горе, нахер! Вот так-то оно лучше было бы!».

Пока одуревший Гришка пытался сообразить, как правильней будет поступить в этой непростой ситуации – просто обидеться на Фролова за «говно в проруби» или же дать завхозу в ухо, сани поравнялись с военнопленным Отто Вебером (местные звали его для простоты обращения Валерой). Немец шагал с мерным аршином вдоль дороги и считал шаги. «Стой!,– закричал Рылько,– хватай его! С нами поедет!». Немца схватили, кинули в сани и

повезли с собой на луг. Тракторист сразу же забыл про месть Фролову, обрадовавшись немцу, как родному, и воспрянув духом. Он решил, что немца прихватили, чтобы утопить его в порядке возмездия за трактор. А и правда, какого черта должны все время одни только русские погибать?

– Нас и так полстраны полегло из-за вас, сволочей...– попытался тракторист, привстав на сене, обосновать Веберу справедливость предстоящего тому наказания, однако Фролов довольно грубо толкнул Гришку на место остаточной рукой, и механизатор заткнулся, струхнув. А вдруг Рылько решил под лед спихнуть обоих разом – и концы в воду? Трактор-то, ежели по правде рассудить, все-таки не немец утопил, а он, Гришка, и на войну так просто тут не спишешь, и былыми партизанскими геройствами тоже не прикроешься, особенно когда НКВД вопросы под электрическим током задавать начнет... тогда признаешься добровольно, что и этот трактор утопил нарочно и что еще сто штук утопить собирался по заданию самого китайского императора. Гришка видел пару раз, как в партизанском отряде дознаватели с Большой земли по имени СМЕРШ с контингентом отловленных партизанами полицаев работали: не дай бог!.. «Ох, горюшко ты мое горькое, матушка моя родная, отче наш, спаси меня и сохрани, дашь днесь, яко мы тебе сами прошшаем и во веки веков аминь...»,– и Гришке изо всех сил захотелось поверить в Бога и обратиться к нему с какой-нибудь молитвой, которая бы его спасла и отвратила от него праведный гнев советской власти. За которую он кровь проливал, между прочим! И он снова и снова приподнимался на локте и яростно выкрикивал то в зеленоватое лицо немца, то в сторону летящих мимо хат: «Я кровь свою за вас проливал, сволочи! Я кровь свою против вас проливал, товарищи!». Он вообще ничего уже не соображал, чего орет. – «Тьфу, дурак!»,– заключил Фролов.

Трактор утоп основательно, что называется – «с ручками», метрах в двадцати от того берега. Только трос, натянутый струной, тянулся из-под льда и держался за волокушу, упершуюся в край полыньи, из которой хлопыстала черная вода и заливала снег от берега до берега, создавая впечатление, что река вскрылась. Торжественный вид зимней природы, так старательно убранной матушкой-зимою в белые тона, был этим отвратительным черным пятном полностью испоганен. Вот что натворил этот Гришка-партизан!

Впрочем, надо признать: то, что тракторист спасся, было действительно чудом. Течение реки было в этом месте особенно сильным, потому что было тут уже и глубже, чем в других местах, и лед, соответственно, тоньше. Межколхозную переправу устроили тем не менее здесь, потому что тут удобней всего было спускаться к реке с луга и подниматься на берег с другой стороны... Увидя белесый, заледенелый трос, уходящий в черную воду, Гришка-тракторист стал отчаянно материться и бегать вдоль берега, держась, однако, на геометрически точно выверенном отдалении от полыньи и от Рылько с Фроловым одновременно.

– «Л-лы... л-лылетом в-вы... в-выташшим, по ззы... по з-закону Архимы...меда...», – торопливо бормотал он пополам с матюками и опять указывал двумя руками на трос, стараясь переключить внимание горющей комиссии с судьбы трактора на свою собственную горемычную историю, которая чуть было не оборвалась только что. Рылько слушал тракториста рассеянно, верней, не слушал его вовсе, хотя и слышал, как тот, бегая и подвывая, повествует все одно и то же: – «...Усё к-как з-затрашшить ураз... и лы-лёмом по кы-кабине к-как жы-жахнить, и потом вода ка-ак хы-хлынить по гы-глазам, да ка-ак шы-шварнеть мяне кверху жы-жопою – и иде там уверьх, а иде униз – хы-хер яго ры-разбярешь под вы-водою; и т-тёмно як у ны-негра у гы-гробе, Пы-ПерДмич, а вода мяне уже тыт...тянить, и тянить, и тянить с кы-кабины наружу... а кы-куды тянить?: знамо кы-куды: под лёд тянить, насы-насовсем... ой-ёй-ёй...- ды-дак а я-то уже под лёдом и есть, гы-гряби яго конем... а холодно, мамыньки вы мои родные, как бы-будто сы-сосульку мяне у в мы-мозги и у в жопу сразу зы-зачкнули, ей-богу, ПерДмич, гряби яго конем!..., – от напряжения души Гришка вдруг перестал заикаться совершенно: «Усе, чую, уже тащить, уже уносить... пропал... и тут бац, брюхом за трос зацапился, а сам ничаво не понимаю, ПерДмич, одны ручки мои усе самы поняли: цоп за трос и давай наяривать: уверьх, уверьх! царап-царап – уверьх... царап-царап – уверьх... ажник дышать забыл, а тут слышу унутри сябе: нету воздуху боле, кончился запас кислороду увесь, руки счас ослабнуть, счас пузыри пушшу, счас утянить мяне под лед к японской бабушке, ПерДмич... и как я дернуся тада, и как я попер!... только б мяне с троса не сорваться, думаю... но только ручки мои колхозные выручили мяне, ПерДмич, происхождение мое рабоче-крестьянско-партизанское, образование советское выручило. Вылез я! Однако, кой-как

вылез, ня сразу, ПерДмич: обратно боролся, да с тымя штанами моимя, ага! Ой-ёй-ёй, ПерДмич!: чуть было ня сгинул я за штанов тых. Штаны ватные назад тянуть, ув ряку, потому чижолые стали, воды напилися – не подтянуться мяне с йими. Висю, кряхтю – а ни туды, и ни сюды! И руки слабнуть! И тута я как лягну-лягну усеми своымы ногамы разом! Зараз вярочка-то взяла да и лопнула в мене на брюхе... чую: плюх – нетути: под лед ушли, бляди стеганые. Чуть было не утопили мяне, ПерДмич, вот ей-богу клянуся, гряди их конем. Тогда только и вылез я, ускарабкался па трасу с потом и кровью. Сразу думаю: ишо делать теперя? Куды бечь? А куды-куды... к Рыльку, конечно, к ПёрДмичу – куды яшшо, ага... вот и побег быстрее ветра... срочные меры принимать по повестке дня... не ожидая отлагательства... за спасение социалистическага трактора ценою собственной жизни, ага... чуть было под лед не утянуло, ПерДмич: ужасу наглотался, ПерДмич, как у в бою у в настоящем, а то и яшшо того хуже... А как потянуло мяня у в глубяну у в тую чярнюшшую..., – ну и так далее в том же роде по новому кругу.

Рылько все это слышал, но только не до Гришки было ему в тот момент. Живой тракторист – и слава Богу, потом порадуемся. В данный миг Рылько пребывал в полнейшем отчаянии: без этого трактора – труба делам! Катастрофа по всему Нострадамусу! Теперь коровы на ферме с голоду подохнут... Рылько схватился за голову и закрутился на месте. Что делать? Новый выпрашивать? Не дадут. И этот-то выделили в обход всех фондов, предупредив беречь, как здоровье жены. Колхозы лошадей своих тоже не дадут, пока собственное сено не вывезут... «Катастрофа! Катастрофа! Катастрофа!», – билась в голове единственная мысль...

Не сразу услышал Рылько голос немца Отто Вебера рядом с собой: «Камерад Рилко! Камерад Рилко! Фитаскат ната. Иншенэр Лютвих Шнайдер ната пософит».

– А он сможет вытащить? – ухватил Рылько Отто за рукав.

– Канечна фитаскат. Шнайдер фсе фитаскат. Самалота Юнкерса фитаскал. Юнкерса – такой палши помпартирофчика, кляйн трактор – пфуй! Шнайдер – гросс механикер!

Помчались за Шнайдером, который трудился в это время на сооружении «Кокинской ГЭС», вел геодезические съемки.

Уже смеркалось, когда хромой Шнайдер, густо утыкав берег и пространство вокруг полыни квадратными следами самодельного протеза на резиновом ходу, завершил последние замеры и аккуратно внес в тетрадку чертеж местности вместе с разными цифрами, указаниями о перепадах ландшафта и всякими хитрыми условными обозначениями.

В ту ночь немцы не спали. Из кузнечной трубы сыпались искры и слышался лязг металла. Во дворе мастерской чего-то с визгом сверлили и резали, на пилораме глухо горготали, перекатываясь, бревна, жумкала пила и тюкали топоры. Начальник охраны матерился и мотался туда-сюда между немецкими бригадами, чтобы подсмотреть, не строят ли пленные воздушного шара для побега.

Следующий день был подготовительным. Плутон чуть было костью не лег, таская тяжести под однообразное бормотанье дяди Володи-лысого: «от работы кони дохнуть». Плутон даже два раза по саням лягнул копытом, чтобы дядя Володя заткнулся. Но тот не унимался, черт контуженный. Так и проработали до вечера в режиме «на убой». Хорошо – темнота спасла. А то б все...– и смутная догадка о зловещем назначении мясокомбината ворохнулась в голове усталого мерина, ему почудилась черная шляпа в темноте и он перешел на суетливую рысь.

За день они перетасили к месту катастрофы массу предметов: столбов, цепей, рельсов проволоки, бревен, лопат, ломов, хомутов, болтов и прочего несъедобного хлама, а люди уже принялись копать яму на берегу на месте большого костра, которым сперва отогрели землю.

За работой пленных наблюдали ветераны-колхозники из окрестных деревень, которые начали стекаться на берег Десны, прослышав об редкостном происшествии – утоплении трактора – и об еще более редкостном мероприятии по его подъему со дна реки в зимнее время. Следя за суетой военнопленных, старики спорили: «Будуть ворот ладить»; – «Не-а, то ня ворот: то нямецкая лябёдка: вишь, яму поперек к ряке роють, а ня удоль?». – «А бревны зачем тада?». – «Для укрпления, зачем жа ишо... для укрпления зямли... как ёсь – нямецкая лябедка!..». – «А чёйта за лябедка такая особая?». – «А хярня такая специальная...». – «Чи сам ня знаишь?». – «Нябось, знаю». -

«У пляну углядел, што ли? В импярэстическую ишо?». – «Ага, как раз ты угадал...».

На второй день ладили «нямецкую лябёдку»: длинный рычаг из двух рельсов, связанных вместе толстой проволокой, установленный вертикально в коническую продольную траншею с обложенными бревнами стенами и дном и двумя толстыми бревнами вдоль дна, служащие направляющими для рычага. Где-то еще ниже, под этими направляющими, нижний конец рычага упирался в дубовые плахи на дне траншеи, препятствующие заглоблению «лябедки». Верхний конец этого гигантского костыля охватывала скоба, к которой крепился трос, ведущий на высокий берег и имеющий петлю для присоединения к тянущей треугольной серье Плутоновой сбруи. В нижней же части рычага, в аккурат над бревенчатым бруствером ямы, рельсы охватывала замкнутая сама на себя цепная петля, к которой с помощью толстого железного пальца можно было пристегнуть звено в звено другую цепь, буксировочную, протянутую между двух намертво закрепленных коротких рельсов, глубоко вколоченных в дно траншеи и возвышающихся сантиметров на пятьдесят над бревнами передней, ближней к реке стороны ее. Это был тормоз, стопор буксировочной цепи; втыканием железного пальца в звено этой цепи со стороны тянущего рычага можно было предотвратить обратное скольжение цепи. У самой реки цепь имела специальный карабин для соединения с тросом: тем тросом, который надо будет прицепить к трактору. Вот такую диковинную конструкцию сгородили немцы под управлением хитроумного военного инженера Людвиг Шнайдера.

К вечеру все приготовления закончились, и народ разошелся, чтобы явиться назавтра, в день третий, в еще большем количестве. Присутствовали представители (в основном женского рода) многих местных народных кланов: Алдушиных, Агешиных, Синицыных, Суетиных, Дёминых, Мазалиных, Леоновых, Давыдкиных, Курилиных, Кафельниковых, Каничевых, Свиридовых, Коноплевых, Хохловых, Нарскиных, Софроновых, Фаценских, Кисловых, Коноплевых, Фатьковых, Тенютиных, Шугаевых, Гришковых и Фроловых, выступающих в едином образе победителей войн, героев труда, жертв революций и строителей коммунизма, законно претендующих здесь, на берегу заснеженной Десны, хоть на какое-то развлечение – тем более, бесплатное –

после долгих и безрадостных лет созидательного труда во имя светлого будущего. Многие надели ордена и медали. Кто-то принес гармошку на всякий случай. Один мужичок привел жену и корову. На вопрос «зачем?» отвечал коротко: «Трахтор ташшыть!». Но «ташшыть» коровами и бабами трактор не пришлось. «Ташшыть» предстояло одному лишь Плутону – могучему кокинскому мерину, для которого военнопленные немцы изготовили специальную кожано-цепную, бурлацкую сбрую по фигуре. Облаченный в нее, Плутон стал похож то ли на хипующего металлиста-рэпера из ближайшего будущего, то ли на полуограбленного сарацинами рыцарского росинанта из средневекового прошлого. Впрочем, никакой радости от своей новой экипировки конь, кажется, не испытывал, скорей даже был раздражен. Все эти звенящие и скрипящие пряжки, ремни, цепи и карабины его нервировали, как нервирует висельника вид эшафота перед казнью. Коня оставили привыкать к новой сбруе и выдали ему даже горсточку овса в ведре – в качестве авансовой премии за освоение новых технологий. Практичный Плутон, отодвинув страх на задний план, приступил к хрумканью, кося глазом на грозную вышку у него за спиной и в волнении шаркая ногами. Он не понимал до конца, что за новый фокус предстоит ему исполнять перед всей этой возбужденно галдящей публикой. Мало-помалу мерин привык к своим новым веригам, и даже, перестав жевать, заинтересовался, как и все остальные, происходящим в районе полыньи.

А там началось грандиозное представление: ныряние немцев в прорубь. Требуется особо подчеркнуть, что никто их к этому подвигу не принуждал, они сами желали совершить посильное геройство из расчета на то, что оно им крупно зачтется на судном дне.

Первым вызвался нырять Отто Вебер – «Валера»: ему это право принадлежало приоритетно – как первому иностранному свидетелю кокинской трагедии и автору идеи о привлечении к спасательным работам инженера Шнайдера. Учитывая отрицательный опыт Гришки-тракториста с его ватными штанами, Отто нырял уже сразу без порток - в двух парах кальсон и свитере. Его обвязали крепкой веревкой, повесили на грудь пудовую шестеренку, чтоб он не всплывал раньше времени, он перекрестился три раза неправильным, мелким, левовращающим крестом, набрал полный живот воздуха и прыгнул в полынью, держась за трос от волокуши. В толпе ахнули. Кто-то пробормотал:

«Тахта воны и наших топыли, нябось. Як кутят». – «То белыя были». – «Ага, белые, конечно. А то ты у нас сильно красный». – «Не красней твоего! Она, немец твой утоп уже, кажись...». Действительно: то ли шестерня оказалась тяжелее расчетной, то ли Отто был слишком старательный, но что-то не было его подозрительно долго – больше двух минут. К тому моменту, когда веревка сигнально задергалась, немца уже собирались вытаскивать наверх насильно.

– Тяни, клюёт! – прокомментировал кто-то из толпы, которую студенты техникума, образовав цепь, держали на некотором отдалении от полыньи. Отто-«Валеру», похожего на мокрого водяного черта, выволокли из реки на лед, и он поначалу не мог говорить оттого, что шумно задышался. Но потом, набрав кислорода сообщил, что трактор лежит на левом боку носом против течения, косо к берегу. Всегда мрачный Шнайдер от этой новости неумело заулыбался – похоже, впервые в жизни–, после чего поднял вверх большой палец и произнес: «Prima!». И принялся делать новые расчеты, быстро двигая планками дощечки – «лобографической линейки» (в толпе интенсивно спорили о правильном названии этой хитрой инженерной штучки).

Между тем ныряние продолжалось. Однако, «Валеру» Вебера от следующего погружения пришлось отстранить, поскольку его начало крупно и икотно колотить. Как можно человека с икотой пускать под воду? Он же «будить воду засасывать, што твой насос». К тому же «Валера», икая, стал опасно синеть. Поэтому с него сорвали мокрые одежды, сунули его в валенки, завернули в тулуп, влили в него стакан доброго первача, уложили в сани, на сено, и сеном же завалили. Вскоре он достаточно оклемался там и стал подавать бодрые звуки жизни.

Следующим добровольцем объявился Макс Швальбе («Максим», по-русски). Максим заявил, что до войны жил у северного моря и поэтому холодной воды почти что не боится. Помимо этого, до фронта, окружения и плена он был штангистом-любителем, и бывшие бицепсы все еще проступали у него сквозь нажитую на фронте и в плену дистрофию. Полагаясь на оставшуюся силу рук и на страховочный канат, Макс предпочел нырять в штанах, фуфайке и в заячьей ушанке, завязанной на подбородке двойным узлом.

Максим Швальбе, хотя он был и помор, задергал веревку намного скорее, чем Отто, через минуту уже, или даже раньше, но зато, отдышавшись, нырлял

потом три или четыре раза подряд, не вылезая на лед, чем доказал свои поморские корни и, более того, при последнем погружении протянул в нужном месте, указанном на чертеже инженером Шнайдером, веревку вокруг тракторного железа, с помощью которой протащили затем и толстый буксировочный трос. Тот что от волокуши не выдержит, сказал Шнайдер. Волокушу пока не отстегивали для дополнительной подстраховки ныряльщиков. Макса Швальбе также закутали в тулуп, также влили в него самогонку и повели в сани, на сено, в компанию к уже веселому «Валере». На пути к саням жители Кокино спрашивали Макса: «Ну что, Максим – зер гут, что ли?» – и немец, польщенный добрым вниманием со стороны пленившего его народа, радостно подтверждал: «Зер, зер гут, очень карош, яволь!».

Между тем студенты и добровольцы-удальцы принялись пропиливать коридор во льду – от полыньи к берегу. Рылько бегал от одного пильщика к другому и пытался обвязать каждого веревочкой: не дай Бог, еще и студент под лед ухнет вслед за трактором. Но студенты отбивались от Рылько, желая работать без страховки – раз уж не успели по-малолетству на фронте себя героями проявить. Однако, один попался-таки «к Рыльку на удочку». И теперь народ потешался: «Куси, куси, гав!», – подначивали студента из толпы, веселясь над тем, как он бегаёт тузиком у своего директора на поводке. Народу лишь бы развлекаться.

Люди между тем развели костер и грелись по-своему: пританцовывая и балагуря. Кого-то в теплом платке отправили на быстрых ножках в деревню – знамо зачем. Сам собой затевался некий спонтанный праздник. Русский народ праздники любит – даже на фоне горя. Это один из способов выживания в условиях, в которых не выживают другие нации.

Расчистка водного коридора на реке шла споро, на берегу и по сторонам полыньи быстро росла куча мокрого, зеленого льда, на глазах тускнеющего и седеющего от мороза. На высоком берегу заголосила гармошка, поддержанная несколькими певунами, но стихла разом, когда инженер Шнайдер вдруг махнул рукой: проход был готов, операция «трактор» началась. Трос присоединили к уже лежащей наготове цепи, коня – к спецпостромкам, и начался первый акт спектакля: подводный переворот трактора – детективное действие с интригой, спрятанной от человеческих глаз, разыгрывающейся где-то в неведомом,

речном мраке, где тракторов отродясь не водилось. Тайна! А потому – вдвойне интересно.

И народ, затаив дыхание, смотрел как сейчас будет выволакивать из тёмных вод эту самую деснянскую тайну техникумовский мерин Плутон. Да, вне всяких сомнений: именно Плутону уготовано было сыграть главную роль в этом драматическом акте тракторной зимней трагедии Кокинского сельскохозяйственного техникума. Казалось, что конь это хорошо понимал и поэтому вел себя весьма артистично для колхозного тяжеловеса: кланялся и поджимал то одну ногу, то другую, что более типично для нервных цирковых лошадок, или для буденновских скакунов перед атакой. Но когда прозвучало, наконец, привычное «Нноахолера!», мерин по старой традиции сделал вид, что не понимает, чего от него хотят. Однако, дядя Володя-лысый быстро и доходчиво объяснил коню с помощью кнута, что требуется тянуть вперед, и увлекая коня личным доблестным примером, пребольно потащил его за уздечку в сторону кустов, после чего Плутон послушно налег, уже не жалея живота своего. Могучие ноги его сначала срывались и расползались, как у новорожденного жеребенка, но потом как-то организовались, договорились между собой, приспособились к тянущей назад тяжести и к рельефу местности, зацепились за удобные бороздки берега. Конь медленно двинулся вперед, земной шар неохотно поплыл назад под его напряженными ногами, позади него затрещало и заскрипело, и процесс пошел. Первые ходы Плутона, пока не натянулись струной все цепи и тросы, были еще куда ни шло, а потом началось по-настоящему. Спасибо еще немцам, которые заботливо расчистили снег на берегу и вырубил для мерина поперечные канавки-ступенечки для упора копыт, а то бы, пожалуй, даже он не сладил с этим непонятным, невидимым грузом, который его заставляли тащить. Работа у Плутона была действительно странная, с его точки зрения: не успевал он сделать пять или шесть шагов, как дядя Володя уже кричал ему: «Тпру-у-у, холера: узад дай, узад!». Мерин не знал, что за эти пять или шесть его шагов верхняя часть рычага, за которую он тащил, делает большой трехметровый кивок, а буксировочная цепь вдвигается в это время между фиксирующими рельсами на пять – шесть звеньев. После этого стоящий рядом с фиксирующим устройством студент блокировал цепь толстым болтом, затем конь пятился, немцы отводили штангу своей «лябедки» назад, в исходное положение, и тянущую цепь пересоединяли к рычагу на

новое звено, чтобы было «в натяг». Далее конь получал очередное «Нноахолера!» и все происходило заново по той же самой схеме. В общем, суеты было много, но скоро оказалось, что вся эта суета вполне себе системная и размеренная: вперед – запор – штангу назад – перестежка цепи – команда коню «вперед», запорный болт долой – полный ход рычага – «тпру» – запор – назад – и все сначала. Толковый мерин так приспособился, что начинал тянуть уже без команды и сам точно знал, когда будет очередное «тпру».

Великий инженер Шнайдер, щурясь и сверяясь со своими расчетами, засек невидимую для непосвященных точку на медленно ползущем из воды тросе, и постоянно перескакивал взглядом между тросом и качающейся штангой.

– Айн метер нох, – произнес он, наконец, как будто сам себе, и полностью сосредоточился на созерцании цепи. Однако, Плутон совершил еще четыре «хода», и ничего не происходило – разве что коню становилось все легче делать свои короткие проходы, о чем он, однако, сообщить никому не мог, потому что все смотрели на Шнайдера, который не сводил глаз с цепи... Но вот, в процессе очередного хода буксировочная цепь провисла на секунду, штанга лебедки прыгнула вперед, и Плутон, увлекаемый собственной, устремленной к лесу массой, упал на колени и сбил их в кровь. Но уже в следующий миг цепь рывком дернулась назад и вздыбила мерина в скульптурную позу «Медного всадника», бьющего копытом в окно Европе. Плутон возмущенно заржал, а инженер Шнайдер похожим на конский голосом заверещал: «И-й-апп! Фертиг!». В толпе загалдели: «Чего, чего ён сказал?». – «Ён сказал «Ёп!». – «Не «Ёп», а «Яп!». – «Ну дак а чего ён матюкаеца? Сорвалося тама у ёго, што ли?». – «Не-а, не сорвалося. То не матюки. Ён, наоборот, по типу хвалитяся: «Яп» по-немецки означайть то жа самое, што наше русское «Опана!»: зашибись, то есть, по-нашему. Понял?» – «Ну дык... чаво не понять... у их жа, у германцев, усё навыворотки...».

А трактор между тем – там, на дне речном – уже прочно стоял «на ногах». Теперь оставалось перецепить трос, взять трактор на буксир и тащить его из враждебной зимней воды на мирный послевоенный берег.

Но сказать проще, чем сделать: возникла заминка со следующим добровольцем-нырятьщиком, которого вдруг не оказалось. Вебер и Швальбе свои нырятьные ресурсы уже исчерпали и годились теперь разве что для

громких песнопений, на которые они благоразумно не решались, не будучи уверены в положительной реакции зрителей на немецкие песни. Другие же военнопленные немцы по разным признакам не подходили: один старый, другой больной, третий высоты боится – что надземной, что подводной. Поэтому глашатай Фролов обходил теперь уже советские шеренги и предлагал каждому патриоту «скупнуться на благо родины».

– Да не, я не с «Родины», я с «Заветов Ильича», – смущенно отказывался мужичок в первом ряду, – я и плавать-то не умею...

– Дак нырять же, не плавать, – пытался его уговорить завхоз.

– Не-а, с «Заветов Ильича» я, – упорствовал мужик, и баба рядом с ним яростно вступилась за него: «Един на у-с-ю-ю дярвеню целый с вайны прийшол – и таго под лед, глянь!...».

И тут завхоз Фролов сделал правильный ход.

– Право нырнуть предоставляется только наиболее смелым фронтовикам! – закричал он, заприметив в толпе безбашенного минера Сашку Свиридова по прозвищу Свирия, раненого на войне осколком в ту область мозга, которая отвечает за неконтролируемое бешенство и безудержное веселье – причем и то и другое безо всяких переходов или предупреждений. Недалеко от этих центров пролегал у Сашки, надо полагать, и узел похоти, который тоже, видимо, зацепило изрядно. Во всяком случае, бабы со всей округи при упоминании имени Свири усмехались либо краснели, а мужики заводили себе в подмогу кавказских овчарок огромного роста, которых натаскивали на врага звуком «Свирия!», что заменяло в данном случае немецкое «Фас!». Свирия был главным юбо-конкурентом Гришки-тракториста на заданной российской местности, но партизан старался в ногах у бешеного минера не путаться и пастись в стороне от Свириных зланных полянок. Гришка сумасшедшего минера откровенно опасался, как боялись в старину моряки чугунной пушки, сорванной штормом с креплений и мечущейся по палубе без смысла и пардона, ломая хребты, сшибая с ног и давя каждого, кто не успел увернуться. Такой же стал и Сашка Свиридов после извлечения из его головы подлого вражеского осколка.

– Эй, Свиридов, Свирия! Ты же фронтовик, или как? Толкните его там, а то не слышит, кажись... Эй, Санька! Мырнуть слабо?

Нельзя, нельзя такие слова говорить Свиридову! На «слабо» Свирия еще в детстве попытался в полнолуние с верхушки молодого тополя на луну перебраться, да хряпнулся оземь и чуть не угробился насмерть. Хорошо знающие Свирию допускали, что он и на мину свою злополучную тоже на «слабо» наступил. В любом случае, прием Фролова сработал, хитрость удалась.

– Кому «слабо»? Это мне «слабо», что ли?– выскочил Санька из толпы, как вылетает на «бис» танцор на сцену,– фрицам твоим сраным не «слабо», а мне, Александру Николаичу Свиридову – «слабо»?– и Свирия попер на Фролова, наливаясь черной кровью ярости.

– Эй-эй, побереги-ка ты воздуха для дела, родной мой,– слегка струхнул Фролов. Я не сказал, что тебе «слабо», а я спросил только: «слабо» тебе или не «слабо»?

– Это тебе «слабо», Мойдодыр ты драный,– развеселился вдруг и захохотал Сашка,– а я по дну пройду и на той стороне вылезу! На спор давай! Пошел прорубь руби на той стороне!

– На тую сторону по дну пройтить – это каждый дурак сможет, – пожал плечами Фролов, а вот трактор за трос зацепить – это, пожалуй, кроме тебя никто не исделает. Так я думаю.

– Ну, стало быть, не такой ты и дурак, раз так думаешь. Ясный хрен, только я и могу!

– Ну а в таком разе скидай портки скорей!

– Глядите-ка, краснодевицей какой запел наш дед кривобокий. Ишь ты – портки ему скидай! Девку сабе нашёл! Щас, скинул, лови! Не с оттудова ты начинаешь, Фрол.

– А с чего же тогда начинать следует, касатик ты наш ненаглядный?

– А с «Московской». Вот так! Самодела не предлагать! Не приемлю!

Делать нечего. Послали кого-то из студентов в сельпо. Гонец умчался, а народ грелся покуда гармошкой, приплясывал, слышались смачные шутки и смех: ведь вдов было еще очень много в то время, и все они тоже собрались на берегу вслед за мужиками. Свиридов ходил петухом и каждой второй подмигивал: «Вылезу со дна речного – греться подвалю...».

– Оглобля тя согреть,– слышались из толпы мужские голоса, но не очень громкие: послевоенный Сашка мог и растерзать, не подумавши о

последствиях. Вот так он изменился – этот ласковый, хотя и азартный в детстве Сашок Свиридов под действием вражеского осколка. А ведь думали про него одно время, что он к немцам переметнулся. Семейно-то Сашкину в конце двадцатых в кулаки записали – за две коровы да лошадь. Уже и в списки внесли. Но все отдал коммуне мудрый дед Свиридов Яков Пантелеевич, гусей тоже, и в сарай пустой перебрался с семьей, а дом свой революционному пролетариату под коммунистические нужды предложил гостеприимно. В результате этого правильного политического порыва удалось деду кое-как из списка кулаков вычеркнуться и, отсидевшись годок-другой в сарае, потихоньку обратно в дом переселиться, когда коммунисты новые хоромы себе отстроили по линии партии. И жили Свиридовы дальше, бедные как церковные мыши, но пугающая тень богатеев так и осталась лежать на их имени. Поэтому, когда Сашка пропал без вести в начале войны, то все порешили, что он это к фашистам подался в порядке мести советской власти за отобранных у него гусей, с которыми он рос, у которых учился ходить и разговаривать, которых пас потом на лугу и любил пуще братьев своих. Но после оказалось – нет, остался Сашка настоящим патриотом: был в немецком плену под Бобруйском, сбежал, попал к своим в штрафбат, смыл позор плена кровью и потом госпитальных страданий от упомянутого минного осколка в голове, и вернулся, наконец, к мирной жизни с тремя медалями «за отвагу» на груди, под звон которых он задолбал всю округу, орудуя теперь уже на бабьем фронте.

Водка прибыла. Сашка распорядился: «И до, и после!». Деваться некуда, налили ему и «до». Но Сашка не подвел (из чего можно сделать научный вывод, что в отдельно взятых случаях контузия гиперактивных мозговых центров приводит в том числе и к положительным эффектам). Свирия нырял раз десять подряд с кувалдой в руках, выныривал, шутил, что после немцев вода в реке очень теплая и соленая. В результате многочисленных своих погружений он сделал все как надо: выбил крепезный палец и отстегнул волокушу от заднего замка, а затем протянул канат сквозь прицепную серьгу спереди. Подготовка была завершена. Можно было начинать тащить на берег неудачливого железного коня, потонувшего раньше, чем он успел прийти на смену крестьянской лошадке.

Подъем трактора начали в четвертом часу дня, перед лицом сумерек. Теперь это уже стало делом рутинным для всех. Коню все еще было нелегко, но он приладился к нагрузке и приноровился к длине шагов: переступал мелко, наклонялся низко, так что возвращение трактора к людям продвигалось хотя и с натужным скрипом всей «немецкой лебедки», однако же ровней и быстрее, чем раньше – за счет наработанного уже опыта. Изменилось и еще кое-что: у Плутона появился стимул к работе. Дело в том, что дядю Володю-лысого сменил Володя-маленький, которого еще звали Вова-свистун за то, что он умел оглушительно свистеть всеми возможными способами: в один палец, в два, в четыре, кольцом из пальцев и вообще без пальцев. Этим он был знаменит на всю округу и вечно был окружен малышами, которые просились к нему в ученики. Случилось так, что Вова-свистун рос с жеребенком-Плутоном на одном пригорке, бегал с ним наперегонки, мерялся силой и толкался. Затем Плутон вымахал в большого зверя, а Вова остался маленьким, но дружба их сохранилась. Тем более, что у Вовы имелся ключик от большого, любящего сердца коня, и ключик этот назывался «сахар». Можно себе представить, каким большим другом нужно было быть в голодное послевоенное время человеку, чтобы угощать драгоценным сахаром зверя. А Вова-свистун угощал Плутона из горячей ладони частенько, поглаживая другой горячей ладошкой могучего коня по блаженно хрупающим челюстям. Как можно было при таком отношении к себе не любить Вову-свистуна всем сердцем? Вот Плутон его и обожал. А поскольку морали у животных нет, то был коню совершенно по барабану тот факт, что сахар этот, по сути дела, ворованный. Тетка у Свистуна работала экспедитором и развозила продукты по точкам сельхозкооперации, в связи с чем у ее племянника и водились голубоватые сладкие камни, которые нужно было колоть молотком и сосать или просто лизать, если слиток не помещался в рот целиком (имеется в виду – Свистуну не помещался; коню-то любой кусок поместился бы в пасть с тройным запасом, над чем Вова иногда потешался, подтрунивая над хрумкающим сахар конем). Вот и теперь, после того, как дядя Володя-лысый стал помогать отогревать нырятьщиков самогонкой, отчего и сам вдруг ослаб ногами и очутился в конце концов в санях, рядом с «утопленниками», и зная, что Плутон чужих не терпит, к нему приставили студента-первокурсника Вову-свистуна, у которого как раз, случайным образом, оказался в кармане кусок сахара. Вова коню сахар показал и даже лизнуть дал,

но отдать насовсем пообещал лишь после работы, и вот теперь, с немеркнущим образом сахара в голове, конь трудился на Володю-маленького не за кнут, а за пряник: за стимул, сравнимый по силе разве что со званием Героя Советского Союза для фронтового солдата из похоронной команды.

Поскольку работа вошла в ритм, и инженеру Шнайдеру делать было нечего, то он пошел и устало сел на сани к «утопленникам», вытянул натруженную ногу с самодельным протезом и сгорбился. Вебер с Максом пытались с ним разговаривать, но Шнайдер им не отвечал. Он отключился, не слышал их, и глаза его смотрели в никуда. Что видели они? Мирное прошлое? Военную жизнь? Несуществующее будущее? Или просто ничего не видели? Не было рядом скульптора, чтобы понять, как должен выглядеть памятник трагедии человеческой жизни. Явись к нам великий Микеланджело сегодня, он бы сразу заметил: лепить этот горестный образ можно, пожалуй, почти с любого глубоко задумавшегося современного пожилого человека...

Трактор выползал из пучины медленно, но верно, и так же медленно и верно становилось ясно, что до наступления темноты не успеть. И тем не менее зрители все еще оставались на берегу: уж очень интригующим обещал стать тот миг, когда трактор покажется из пучины. Народ жаждал чуда. Народ всегда жаждет чуда. И как говорят то ли китайцы, то ли японцы: если достаточно упорно ждать чуда, то оно обязательно случится. Именно так и произошло: при очередном поступательном ходе Плутона, который уже не столько шел, сколько падал вперед от изнеможения, поверхность черной воды над расчищенной полыней вдруг шевельнулась, и на ней обозначилась в гаснущем свете дня неестественная водяная опухоль, которая при следующем ходе «немецкой лебедки» превратилась в крышу трактора. Потрясенные зрители не сразу поняли, что это такое, ибо все-таки в глубине души далеко не каждый верил, что там, под водой, действительно скрывается настоящий, железный трактор. Ведь с самых первобытных времен не было такого опыта у местных крестьян. Поэтому народ просто замер сначала в полном недоумении от удивительного явления природы, и лишь потом рукотворность этого чуда пронзила чье-то сознание, и этот кто-то первым закричал: «Ур-ра!». Знакомый призыв немедленно был подхвачен, и над поймой Десны грянуло дружное и продолжительное «Ур-ра-а-а!», спугнувшее молодых, послевоенных волков в

кустах. Волки эти еще в предобеденное время начали сползаться из леса, привлеченные запахом потного, вкусного, полного горячей крови Плутона, и с тех пор последовательно, коварно и незаметно сжимали полукольцо вокруг него в надежде, что замерзшие люди разойдутся по деревьям, а горяченький, потненький, вкусненький конь останется ночевать на лугу. Теперь, от этого страшного победного рева, который волки уже подзабыли со дня освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, от этого грозного человеческого «Ура!», от которого даже гитлеровцы сдрейфили и удрали к себе на запад, волки дружно кинулись тикать под защиту Брянского леса. Спohватившиеся колхозные шавки, от нечего делать еще с утра примкнувшие к деснянскому празднику, запоздало завизжали хищникам вслед, на всякий случай поплотней поджав свои драгоценные, облезлые хвосты и прибившись к ногам ликующих людей.

Придя к выводу, что трактор до утра никуда теперь не денется, тянущую цепь заблокировали и подъемные работы на этот день приостановили. Люди стали расходиться по домам, пребывая в сильно приподнятом, можно даже сказать – праздничном настроении. Вот ведь забавный парадокс: чтобы обрести радость, надо, оказывается, сотворить сначала беду – утопить трактор, например, и снова его достать. Не для того ли и войны затеваются, чтобы получить повод порадоваться однажды наступившему миру. Ведь любая война кончается когда-нибудь миром, не так ли? А мир нужен, чтобы поднакопить силы для новой войны, и для новых радостей от побед, и так далее – до полного уничтожения человечества. Но это уже унылая, абстрактная философия, а выползающий над Десной трактор – это была на тот миг оптимистическая реальность в действии: при ней и останемся.

Как уже упоминалось, дядя Володя-лысый, который «помогал разливать», был уже никакой и лежал в снях поперек немцев, поэтому бурлацкую сбрую снимал с коня и запрягал его в сани закадычный друг мерина Вова-свистун.

Но это вовсе не значит, конечно, что конь сразу дернул, когда Володя-маленький ласково сказал ему: «Н-н-о, Плутончик, пошел, поехали домой!». Плутон по обыкновению своему выпятил нижние зубы и шевельнул губой, как будто говоря: «А не пошел-поехал бы ты сам куда подальше!...». Вова вздохнул

и отдал другу обещанный сахар. Конь мощно захрустел лакомством, и пока не прохрустелся, прикрыв глаза, полностью сосредоточившись на удовольствии, с места не сдвинулся.

Но Вова-свистун характер коня хорошо знал и поэтому не торопил его. Через минуту-полторы, все прожевав и потыкав мордой Володю в бок на предмет случайной добавки, но не дождавшись оной, мерин выдержал еще одну паузу достоинства, затем тяжело вздохнул, подался телом вперед, оценивая тяговое сопротивление сзади, и пошагал в сторону Кокино. Хитрый конь знал, что там, на конюшне, его ждут ужин и отдых, но шагал степенно, с достоинством, никак не выдавая своего нетерпения. Это только со стороны и несведущему могло показаться, что Плутон большой, лохматый и тупой. Большой и лохматый он был на самом деле, но никак не тупой. Наоборот: конь был очень даже смекалистый и себе на уме. Вот пример из его трудовой биографии: однажды он с поклажей толстых мешков стоял у правления и понуро смотрел в землю, пока дядя Володя-лысый чего-то там обстрипывал в конторе. В мешках находился овес. Никто Плутону этого не сообщал, но мерин точно знал: в мешках – овес на посадку: крупное, чистое зерно первого сорта. Мешки были навалены в телеге горкой. Вожжи лежали на перилах крыльца. Зная спокойный, склонный к дремоте нрав своего коня, дядя Володя-лысый привязывал его редко. Все это быстро оценив полудреmlющим оком, конь медленным, лунатическим шагом двинулся в сторону ближайшего огорода, как бы заинтересовавшись зеленой травкой возле частокола. Но двинулся он так хитро, что заднее колесо телеги наехало на первую ступеньку крыльца, при этом телега, естественно, круто пошатнулась (на что и был расчет), и верхний мешок упал на землю. Никакая травка под забором, разумеется, в планы Плутона не входила. Конь сделал – теперь уже быстрым, деловым шагом – большой круг по двору, стараясь минимально скрипеть телегой, подошел к упавшему мешку, пнул его подкованным копытом, отчего мешок развалился пополам, и тут же погрузился в него мордой по самые уши. Так его, блаженно хрупающего, и застал осатаневший от этой сцены дядя Володя-лысый. Конечно, конь знал, что горячего кнута по бокам ему за это преступление не избежать, но ведь кнут будет потом, когда-нибудь потом, а тут и сейчас, в ноздрях, на губах, в пасти – везде был вкуснейший овес, овес, овес, и этот овес шуршал мерину: «Жри, жри шибче, небось, до смерти не забьют, куды оне без

тебя?»,— и Плутон кивал, соглашаясь с такой железной логикой: «А и правда: куды оне без мяне, без единственного настоящшаго мужука на усю округу?». Конь ничего не придумывал про себя – он просто мысленно повторял то, что постоянно слышал в свой адрес от окружающих его баб, хотя они и смеялись при этом. И конь, вспомнив их смех, засмеялся сам, фыркнув фонтаном овса из полупустого уже мешка. После этого, как и ожидалось, Плутон схлопотал кнутом, подвергся словесным оскорблениям и даже пинку сапогом в «ненасытное брюхо», но овес-то уже был там, в животе, так что конь лишь продолжал посмеиваться и сулить на своем лошадином языке дяде Володе всевозможные дорожно-тележные пакости в порядке мести за жгучий кнут. Например, он сулился навалить огромную кучу посреди городского сквера, когда они будут там. А дяде Володе за ним убирать придется, фыр-фыр-фыр. И Плутон выпячивал нижние зубы и шевелил бархатными губами, так что умеющий читать по конским губам безошибочно расшифровал бы: «Ффурруй-ффурруй, лыффый ффрен, оффкоррбляй Пффррутона, уфе наффрру ффкорро, уфе ффкорро-ффкорро наффрру в фкферре, ф-ф-фаффыфт ты лыффый...уфф!..». Вот такой это был непростой конь, тот техникумовский Плутон.

Вслед за санями, в которых мирно спали два немца и один дядя Володя, потянулась с луга и измотанная армия спасателей, сопровождаемая перевозбужденными зрителями. Людей догоняли долгие, тягучие, нудные сумерки. Они бесшумно заливали стылое, серое небо и такой же серый снег постепенно густеющей непроглядностью. В нее целиком уже погрузился Брянский лес за спиной, начинающий стонать волчьими голосами. Студенты и немцы, уработавшись, плелись молча, а среди зрителей время от времени взвизгивала гармошка и вспыхивали частушки, но тут же гасли, так и не набрав силы. Зрители при этом все больше отставали от размеренно бредущих спасателей, потому что двигались по более сложной траектории и часто задерживались, чтобы поднять павших или вернуть на дорогу заблудших. Сашки-минера с ними не было. Кто-то видел, как он подался к стогам, еще кто-то заметил, что был он не один. Иные высказывали опасение, как бы обоих не сожрали ночью волки, и кто-то сказал: «Хорошо ба так», на что еще кто-то засмеялся, икнул и предположил, что если волки будут женского рода, то Свирия

их и сам того... Володя-маленький все это слышал, но потом Плутон прибавил шагу и оторвался от толпы. Скрипел снег под полозьями, поухивали голодные конские требуха, мерцали огоньки деревни по сторонам, что-то бурботал на полулошадном языке дядя Володя в санях – наверное, что-то глупое, потому что Плутон, понимающий речь дяди Володи, время от времени презрительно фыркал – и Вове-свистуну вдруг стало очень хорошо на сердце. Он был счастлив тем, что трактор завтра вытащат, и тем, что он студент, что он молод и что у него все еще впереди, и он от избытка ликующих чувств запел звонким голосом: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед и на тихом океане свой закончила поход»... Где-то позади него подотставшие пленные немцы, неожиданно грянули припев: «Унд чиндараса-бундараса-бум!». Так и шагал до самой деревни интернациональный десант с русской песней и немецким припевом. От этого удивительного пения даже конь развеселился и взметнул над санями свой пышный, черный, пиратский хвост, на что Вова крикнул ему предупреждающе: «Ну-ну, ты мне еще пёрдни сейчас, черт мохнатый!». Но конь расслышал в Володином голосе не осуждение, но одну лишь чистую любовь к себе и, конечно, пёрднул – лихо, на всю деревню, от всей своей тяжеловозной души. Отто Вебер испуганно вскинулся, очнувшись на секунду: „Wass ist?“, Макс Швальбе засмеялся то ли во сне, то ли наяву, а дядя Володя-лысый даже и не шелохнулся.

Перейдя большак, народ стал расходиться по домам, а Плутон ввиду близости конечной станции – стойла – перешел на третью скорость и принялся с энтузиазмом размахивать хвостом, дирижируя собственным ритмом. Он чувствовал по голосу Вовы и по неменяемому состоянию жадного дяди Володи-лысого, что двойная порция овса ему сегодня гарантирована. А, может быть, достанется ему и еще один кусочек сахара. Плутон заржал. А Вовику между тем захотелось схулиганить, и он снова запел, обернувшись в сторону пленных: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С фашистской силой темною! С проклятою ордой!». Но «фашистская темная сила» его уже не слышала, она отстала далеко и колыхалась темной тенью где-то там, на повороте дороги, едва волоча за собой усталые ноги. «Проклятая орда» в санях тоже не отреагировала: они все еще крепко спали единой пьяной массой под жаркими тулупами: два немца вдоль и один русский поперек саней. Этот

поперечный русский все-таки расслышал что-то свое, сокровенное в знакомой песне. Он истошно вскрикнул: «Паровоз!...» и взмахнул рукой. Возможно, ему как раз привиделась кавалерийская атака на белогвардейский бронепоезд из чьих-то рассказов, но с собственным участием. Это было очень даже вероятно, ведь дядя Володя-лысый, подвыпив, любил рассказывать коню про свои многочисленные подвиги, и конь все их знал наизусть и мог бы пересказать, когда б умел говорить. А подвигов у дяди Володи было много. Если верить его словам, то он воевал на всех фронтах, во всех армиях и при всех правительствах. В том числе бил Наполеона и переходил с Суворовым через Альпы. А еще водил поляков на гиблое болото вместе с Иван Ивановичем Сусаниным. Насчет поляков дядя Володя почти что не врал, только путал слегка: во-первых, это не он их, а они его водили на болото расстреливать, а во-вторых, были то не поляки, а белочехи, которые приняли его за красного партизана, собирающегося резать построжки лошадям чешской кавалерии и шныряющего с этим заданием промеж коней. К тому же по молодости, когда дядя Володя еще не был лысый, он выделялся на фоне окружающей природы ярко-рыжей мастью и привлекал этим всеобщее и пристальное внимание: красных, белых, баб, жандармов, железнодорожных кондукторов и цыган-конокрадов. Белочехи повели его на расстрел, но по дороге вывернули ему карманы в поисках оружия, а обнаружили там одни только кукурузные зерна, уворованные у лошадей и частью уже погрызенные. Тогда, поняв что к чему, они отсыпали рыжему дурню пендалей-поджопников и отпустили его к чертям собачьим, предупредив, чтобы впредь не вздумал возле коней отираться. Психический шок от того эпизода породил в потрясенной голове молодого дяди Володи ложное представление о собственной героической роли в истории революционной борьбы, и он даже просил Рылько, чтобы тот выхлопотал ему орден, как пострадавшему от гражданской войны в пользу социалистической революции. Рылько обещался пособить, и время от времени между этими двумя кокинскими персонажами происходил такой диалог, непонятный для непосвященных: «Ну што, Пёрдмич, як там?». – «Пока нет». - «Й-е-х-а, Пёрдмич, нету правды на зямле! Нетути...». – «Да, пока нет. Надо ждать». – «Ага, дождесся, как жа. Когда рак на горе свиснить. А ить жизнью своей рисковал!». Это была правда, жизнью он тогда рисковал. Хотя по этому

признаку орден можно было вручать каждому жителю Советского Союза. Как в те времена, так и сегодня.

Вовик-свистун был уже так далеко от пленных, что не мог слышать последних прощальных диалогов немцев с местными жителями, расходящимися по избам. А диалоги были в том числе и весомые, нравоучительные, типа:

– Ну ты же нормальный мужик, Клаус-хренаус! Ну на кой фиг ты против нас воевать полез? Вот этого я никак в толк взять не могу. Ну зачем? Ну кто он тебе такой – тот Гитлер ваш, а? Ну ты же рабочий человек, хороший плотник, а он-то кто? – фашист отъявленный! Людоед он, понимаешь ли ты это?

– Гитлер – капут!

– Да капут-то он капут, это я и без тебя знаю. А пока не капут был, чего ты в Расею-то заявился? Зачем в меня стрелял? Зачем мерзнул тут и потел? С какой такой целью в голове? Штоба теперь трактора нам сподо льда доставать? Штоба дома порушенные нам обратно строить? Вот не понимаю я этого – и точка с запятой! Вот не понимаю – и ишо раз точка с запятой! На хера вам, нормальным людям, Гитлер этот поганский поснадобился, а?

– Гитлер – капут!

– Ну, заладил, што твой попка-дурак: «Капут, капут!»... ладно, успокойся. Иди домой. Бывай здоров. И помни, что я тебе про Гитлера вашего сказал.

– Гитлер – капут!

– Тьфу, иттит твою... Так точно, Клаус-хренаус, Гитлер – капут! Урок про войну ты, как я погляжу, на пять с плюсом усвоил, давай днэвник, красным чарнилом проставлю... Ладно, топай теперича до шконки своей, топай, давай, топай, отдыхай,– и мужик уходил вверх по заметенной снегом тропинке к заснеженной избушке, бормоча под нос: «Вот ить комик долбанный с погорелого театра. Ядно тока и осталось у яго под кумполом, войною потрявожанном: «капут», да «капут»... А так вроде бы и мужик на вид нормальный, и руки-ноги у яго как бы с правильной стороны установлены, а в башке, глянь, беда одна. Един сплошной «Гитлер капут» и ничаво больше, растудыт его нехай... Так и останется, небось, про «гитлеркапут» до самого гроба тэвкать... От же бедолаги вы грешныя... Хотя, с другой стороны, по правде признаться, мы и сами тоже не черясчур ангелы нябесныя, ежели нас на просвет растянуть. Уж ето точно, што

не ангелы мы: черти мы богохульные – вот мы хто... Ех, матрена-зелена, усе вместе в едином аду гареть будем – уж ето точно...».

На следующий день немцы вытащили трактор на берег окончательно, водрузили вокруг него деревянную сарайку, поставили там «буржуйку» и неделю потом разбирали железную машину на части и собирали снова. На восьмой день, найдя более надежный путь по льду, бывший танкист Мартин Госке пригнал трактор в Кокино своим ходом. Гришка-Софрон пересекать реку на тракторе категорически отказался. Он вообще заявил, что согласен работать трактористом только летом, за что Рылько пригрозил отдать его в скотники, а это был большой позор для механизатора. Но Гришка сказал, что теперь, после всего, что с ним приключилось, он лучше в теплом, желтом говне потонет, чем «под холодным черным лёдом».

– На вкус и цвет товарища нет, – пожал плечами Рылько и подписал приказ о переводе Гришки на телятник.

Смерть феодалам

В целом, идея была понятна: нужны были ученые герои и нужны были феодалы. Сначала феодалы разводят костер и готовят ученых к сожжению за правду, но в последний момент ученые поднимают восстание и сжигают самих феодалов. Неувязка возникла в том, как называть ученых: ну не «Вовиком» же «Мигуновым» или «Юриком Офицеровым», или «Гариком Шенфельдом». Нужна была историческая реальность, чтобы прочувствовать драму века до конца. Мы разошлись с домашним заданием: найти каждый себе историческое погоняло для сожжения. Назавтра мы собрались снова для постановки великого спектакля. Славик доложил, что его зовут «Каперник». То ли Николай Иваныч, то ли Николай Николаич – это он забыл, пока шел. Но «Николай» – это точно, сказал он. Мы решили, что пусть будет тогда уже «Николай Петрович» – в честь техникумовского преподавателя физкультуры Николая Петровича Тягунова, который хотя и говорил непонятной скороговоркой, но был добрый, горел в танке и катал детей на бензобаке своего мотоцикла. Со мной было хуже. Я получил от родителей информацию о сожженном итальянском ученом Джордано Бруно. Но мне не хотелось называть это имя, потому что «Бруно» – это имя немецкое (у моей тети Оли был племянник по имени Бруно), и я

опасался, что меня обвинят в лоббировании собственных национальных интересов. Поэтому я в последний момент назвался Колумбом, открывшим Америку, хотя и не был уверен, что его за это сожгли на костре. Но я позволил себе сделать такое художественное допущение. «Колумб изобрел компас и за это его сожгли», – объяснил я друзьям. Мне охотно поверили, что за хороший морской компас и зарезать и сжечь могли запросто и я, таким образом, был утвержден на роль Колумба. А вот Юрик Офицеров пришел опечаленным. Он сказал, что во время войны в Белоруссии сожгли их тетю Маню вместе с ее детьми, а больше ему о сожженных людях разузнать ничего не удалось. – "Не тётей же Маней мне называться теперь?" – сокрушался Юрик. Нет, конечно, назваться тётей Маней было бы бесчеловечно, а играть без Юрика тоже нельзя было – ведь это он автор идеи. Сообщение Юрика о тете Мане и ее сожженных детях расстроило нас всех настолько, что играть в эту игру нам почти что совсем расхотелось. Славик от жалости подарил Юрику свое яблоко, а ничейный внук Венечка принялся тоненько завывать: он заплакал. Но тут я кое-что вспомнил то ли про Куликово поле, то ли про Чудское озеро, и предложил Юрику быть Юрием Долгоруким. Что он такого знаменитого сотворил, этот Юрий Долгорукий, я не помнил, к сожалению, и мы поэтому решили сообщать, что Юрий Долгорукий разбил в хвост и гриву Золотую Орду, за что его и хотели сжечь подлые феодалы. Юрик пришел в полный восторг от этого варианта, и даже, нарушая всякую субординацию, полез ко мне обниматься. Юрик просто сиял. Юрий Долгорукий – ничего себе, как удачно! Как раз и он сам – тоже Юрий! Вот ведь какое историческое совпадение – прямо как будто нарочно! Он до того радовался, что я даже позавидовал ему на секунду и на себя подсадовал: лучше бы я взял «Юрия Долгорукого» себе, а ему Колумба отдал. Но судя по тому, как ловко и грозно Юрик уже размахивал во все четыре стороны света мечом из широкой строительной дранки, он уже достаточно успешно освоился в роли князя, так что отнимать у него эту роль я не решился, чтобы он вместо «Золотой орды» еще и на меня самого не кинулся сдуру.

Вовик, со своей стороны, заявил, что будет Спартаком на сожжение. Это, конечно, была совсем уже полная наглость. На Спартака даже я, старший офицер, не тянул, а тут мелкий Вовик, которого то разжалуют до нуля, то снова младшего лейтенанта присвоят, Спартаком себя вообразил... Мы сказали Вовику «Нет!». – «Ишь ты, – сказали мы ему, – Спартаками, небось, все хотят

быть! А только никто Спартака не сжигал, его на столбе распяли. Кино до конца смотреть надо, а не засыпать на серёдке!». – «Нет, сжигал», «нет, сжигал», – бегал Вовик кругами, – «он ночью с креста сбежал, уплыл за море, и его там персидский царь сжег! Есть вторая серия, вы просто не видели, а я видел!». С этой чушью никто даже и спорить не стал, каждый знал, что Вовик бессовестно врет. И все-таки мы его в конце концов на роль Спартака вынуждены были взять, исходя из других соображений. Дело в том, что в качестве феодалов было решено использовать дровяные поленья. А было лето, и дров в сараях почти ни у кого уже не оставалось. А у Мигуновых они были! Они прошлой осенью много напилили, больше, чем надо, да еще и углем топились, который Мигуновым заочки завезли. Кроме этого, Вовик жил ближе всех – прямо напротив «полянки», и он пообещал за «Спартака» притащить целых двадцать поленьев, но только при условии, что пять штук из них он разрисует сам (я принес из дома краску «гуашь» из набора, который мне подарили на день рождения, и этими красками требовалось разрисовать поленья под феодалов). Вовик сказал, что полешки березовые, беленькие, чистенькие, гладенькие, чудо, а не полешки. За это мы, (так и быть!), согласились утвердить его на роль «Спартака». Бог с ним, пусть подавится своим «Спартаксом», унтер несчастный...

Поленья оказались действительно отличные, так что рисовать можно было даже по бересте. Неожиданно для всех к нашей игре подвалил еще один герой – сам вражеский полковник Зуй, Витька Зуев. Его разведка доложила ему про нашу игру, и он прикатил здоровенный дубовый чурбак для колки дров, сказал, что чурбака зовут «Гитлером», а сам он будет называться Александром Матросовым. После долгой борьбы за «Спартака» нам было уже все равно, и с колодой-«Гитлером» в качестве взноса мы Витьку взяли, предупредив его, чтобы во время революционного мятежа он не вздумал бить своих - нас, то есть, - а только феодалов! Зуй пообещал, хотя и подозрительно ухмыльнулся при этом. В наших рядах были недовольные его кандидатурой, но мы, пошептавшись, решили, что рискнем с Зуем, уж больно чурбак-«Гитлер» был хорош. Да и «Александр Матросов» для революции фигура подходящая. Главное – не хотелось, чтобы он укатил чурбак обратно. Спалить вместе с феодалами еще и «Гитлера» – это была отличная идея, и при непосредственном воплощении она обещала большую потеху. Зую дали

кисточку, и он приступил к работе. Надо сказать, что Витька, хоть и псих, но художник был отменный. Гитлера изобразил на своем чурбаке, как живого. Даже бешеный глаз выпучивался на месте сучка, а вместо другого глаза была черная повязка, как у пирата. Вот только Витька, сволочь такая, всю краску из черной бутылочки извел до дна на эту повязку, да еще и на ремень вокруг всего чурбака! Нарочно, конечно, извел: по роже видно было, что нарочно. Ну да ладно. «Игра стоит свеч»,- вспомнил я поговорку и подумал, что правильной было бы сказать: «Игра стоит гуаши». Но я Витьке ничего этого говорить не стал, чтобы его не радовать. А то ведь он сразу начнет визжать: «Ага, жмот немецкий, краски жалеешь!» и крутить глазами, как ненормальный. С Витькой связываться не стоит – это всё Кокино знает. Между тем он, наглая рожа, стал еще краски требовать, он, видите ли, забыл «Гитлеру» своему яйца пририсовать. Мы принялись Зуя деликатно отговаривать, мол, вечереет уже, Витя, и так не успеваем, время поджидает, да и рисовать уже некуда, на колоде места свободного нету, ремень-то по самому низу проходит: не на ремне же у Гитлера яйца висеть должны! Недовольный Зуй кое-как согласился с нашей железной логикой.

Игра состоялась и даже отлично получилась. Мы запалили костер из сухого мусора и расставили полукругом «феодалов», которые зачитали нам приговор и осудили на смерть через сожжение за наши передовые мысли о свободе и правде. Во время зачитания приговора (от имени феодалов его произносил один из офицеров Зуя – Вовка Фомин) мы – ученые, мыслители, герои разных времен и страдальцы за правду – стояли на другой стороне костра, связанные бельевой веревкой, и выкрикивали в лица феодалам-кровососам прогрессивные истины типа: «Миру – мир!», и «Смерть фашистским оккупантам!», и «Семь бед – один ответ!», и «У семи нянек дитя без глаза!», и «Семью семь сорок девять!», и «Перегоним Америку по мясу, молоку и шерсти!», и «Храните деньги в сберегательной кассе!», и «Посади свинью за стол – она и ноги на стол!», и «Да здравствует октябрьская революция!», и «Руки прочь от Кубы!», и «Даешь пятилетку в четыре года!», и «Болтун – находка для шпиона!», и «Спартак – чемпион!», и «Не имей сто рублей, а имей сто друзей!», и «Гитлер – капут!», и «Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!», и «Пролетарии всех стран – соединяйтесь!». Короче, шум стремительно приближающейся революции был

оглушитель и все нарастал. При этом мы то вздымали руки к Богу, которого нет, как известно, но который все равно видит сверху как мучают настоящих героев и как они мужественно не сдаются. Время от времени мы обнимались, как братья, и начинали петь: «Вихри враждебные веют над нами!...». Все шло как по нотам, и только побочный внук Витенька, не принятый в игру по малолетству и из соображений техники безопасности, немножко портил сценарий. Он по собственной инициативе бегал вокруг костра, пинал феодалов ногами и вопил: «Кто не с нами тот против нас, тому на ж... натянем глаз!», и «Пасть порву, моргалы выколю, кишки на пулемет, повешу, б..ди!...», – и матерился дальше с такой изощренностью, на какую не способны были даже подвыпившие кокинские ветераны, застрявшие в кустах облепихи. Мы аж приостановились на миг в нашем громком революционном страдании и стали хохотать вслед за Витькой Зуем, слушая Витеньку, чем раззадорили его еще больше. Он стал скакать козликом, делать стойку на руках и приговаривать: «Перо в бок, сковородкой по кумполу, не подходи, сука!..». А затем гнусаво пропел песенку: «Один американец засунул в ж... палец и вытащил оттуда г... четыре пуда»... Вот ведь создание природы этот Витенька! Никто не знал кто у него родители, воспитывала его бабка Колесницына, которая и вела его по жизни к коммунизму, но иногда бабка запивала на недельку-другую, и тогда Витенька пробирался к коммунизму самостоятельно. В таких промежутках семейного безвластия Витеньку кормили и пытались спешно восполнить недостатки его воспитания непосредственные соседи и прочие сердобольные жители «Бедного посёлка». Воспитанию Витенька по общему мнению поддавался плохо. На вопрос «кто твой папа?» он лишь матерился или делал вид что не слышит вопроса. Но и на вопрос про маму он реагировал примерно так же. Хотя, как удалось выяснить обходными путями, мать у него все-таки имелась, но жила в Курске и работала в военном госпитале. Витенька, будучи однажды в хорошем настроении похвастался, что мать его работает патронажной сестрой, и потому так называется, что ей сдают патроны на хранение раненые солдаты. В виде доказательства Витенька показал нам латунную гильзу от «дегтярева». Но мы сказали ему: «Ты брешешь, засранец!», потому что разными подобными гильзами у каждого из нас карманы были набиты доверху. Понятное дело, что Витенька в ответ лишь грязно матерился. При этом был он голубоглаз и кудряв, как маленький Ленин на октябренской

звездочке, и многие неопытные женщины при первой встрече называли его «милым ребенком!». Пока он не доводил их до внезапного шока, виртуозно посылая всех "к патронажной сестре". Но мы все на полянке, несмотря на поганый характер малолетнего Витеньки, любили его и жалели: без папы и мамы дожить до коммунизма непросто - это все мы хорошо понимали. Вот помрет его бабка - и что будет наш Витенька делать тогда? Юрик Офицеров как-то признался, что когда бабка Колесницына помрет, то он готов Витеньку усыновить, но скорей всего батя не позволит. В любом случае с Витенькой было всегда весело: от его глупых выходок мы всегда покатывались, как и в этот раз.

В общем, было очень весело. Особенно хорошо сыграл свою роль Вовик Мигунов, мужественный «Спартак». Был даже момент, когда он довел хор мучеников до высшего апофеоза: он завопил вдруг тонко, тоскливо и искренне, как певец Лемешев в опере «Евгений Онегин»: «А-а-ай-яй-яй-яу-уй-юййй!» и стал рвать на себе рубашку, так что из-за него вся наша монолитная команда героев, скованная единой цепью насилия, чуть не завалилась сперва в воронку на краю костра, а потом и в сам костер, и все стали ругаться на Вовика и кричать: «Дайте там кто-нибудь по башке этому Спартаку сраному, чтоб не дергался так!». (После спектакля высокая театральная комиссия, куда вошли мы все, дала все же этому эпизоду очень высокую оценку, отметив, что Вовик сыграл отменно натурально и драматично. Тем более, что выяснилось: весь этот высокий театральный класс Вовик выдал не столько от большого врождённого актерского таланта, сколько потому, что ему и взаправду горячий уголек из костра под рубашку залетел, рубашку испортил и шкуру Вовику опалил на боку до настоящего жареного волдыря. Таким образом, Вовик оказался в нашей постановке реально пострадавшим революционным героем). Вовика кое-как успокоили и представление пошло дальше.

Еще сколько-то времени феодалы нас помучили, а потом, в какой-то момент Юрик Офицеров, то есть Юрий Долгорукий, как главный режиссер-постановщик спектакля, скомандовал: «К оружию, товарищи!». Мы порвали на себе бельевые путы, изображающие цепи феодализма, бросились на феодалов и в один миг побросали их в костер, предварительно закатив туда и «Гитлера». Пламя поднялось над Кокино, и на пожар, с ведрами, полными воды, сбежались взрослые со всего поселка. Мы объяснили им, что это у нас

пионерский костер такой, типа праздника «взвейтесь кострами, синие ночи», и они обрадованно успокоились, приказав нам быть поосторожней с огнем и плеснув на всякий случай в костер пару ведер воды, отчего феодалы наши дико зашипели, как настоящие, и чуть было не спаслись от законной смерти, но потом снова запылали пуще прежнего. Как же, шутишь! Наших отборных феодалов так просто не загасишь! Дольше всех горел дубовый «Гитлер» – он и через три дня все еще дымился вовсю, «коптил». У Витьки Зуева уже и красные следы от ремня на заднице заживать стали, полученные за этого «Гитлера», уведенного со двора, а сам «Гитлер» все еще дымился на «полянке».

Бедный Зуй: когда его пороли, вопли слышал весь поселок. Моя мама даже собиралась пойти к Зуевым с протестом за ребенка, но Витька вдруг внезапно замолк. «Убили», – в ужасе подумал я. Но это просто экзекуция закончилась. Витька остался жив и даже снимал потом штаны и хвастался свежими ранами. Ему не привыкать, сказал он. И он не врал: Витьку, бедолагу, родители лупили ремнем часто, оттого он, наверно, и рос психом. А оттого, что рос психом, его лупили еще больше. Получался круговорот ремня в природе. Однажды, когда Витька был в спокойном настроении, мы его спросили, почему его дома постоянно ремнем стегают. Он печально ответил: «Чтобы я стал настоящим человеком и сказал родителям спасибо, когда вырасту».

В общем, повеселились мы тогда на славу, но впредь, насколько я помню, в эту игру не играли больше. Почему – не знаю. Может быть, из-за Витьки Зуева, чтоб его не пороли больше. А, может быть, и из-за Юриковой тети Мани. Как-то исподволь ужасная история Юрика прокралась в наши души и поселилась там намертво, и игра с сожжением людей – даже понарошку – стала казаться кощунственной, фашистской. Этого всего никто никогда вслух не проговаривал, но несколько раз, когда кто-нибудь предлагал поиграть снова «в феодалов», остальные говорили «А, неохота... Пошли лучше пульки копать». И мы шли копать пульки.

Зелёный шарик

С этим копанием пулек мы чуть не докопались до полной мировой катастрофы. Хорошо, что все в конце концов обошлось, и то – кто знает? Может, и не обошлось еще, а просто затаилось и выжидает...

Лучше всего начать эту историю с такой вот картинка: шагает по «Бедному поселку» Николай Петрович Тягунов с классным журналом, за ним – студенты с винтовками, а за ними – пацаны с лопатами, то есть мы. Мы знаем, куда шагаем: в конец «полянки», к глиняному обрыву. Там, на склоне, студенты установят мишени, потом Николай Петрович разложит студентов рядком в пятидесяти метрах от них, на холмике, раздаст им патроны, по десять штук каждому, и студенты начнут лупить из мелкашек (малокалиберных винтовок) в цель, чтобы отработать норматив «ГТО» по стрельбе и получить значок «Готов к Труду и Обороне». А мы, пацаны, будем терпеливо ждать: во-первых, мы знаем, что после того как студенты отстреляются, добрый Николай Петрович, бывший танкист, даст пульнуть и каждому из нас по разочку, во-вторых, когда студенты уйдут, наступит наш свинцовый час, наш клондайк. Мы кинемся с лопатами на глину склона и будем искать свинцовые пульки.

Уверен, никакие колумбийские копатели изумрудов не делают это с таким азартом, с каким пыхтели мы, соревнуясь между собою в количестве найденных расплюснутых свинчушек. Мы вели счет, и мы знали, что пулек, по выстрелам, должно быть, например, девяносто восемь, но находили порой и сто четыре на круг, и больше – с учетом недонайденных в прошлый раз. Из этих пулек мы потом выплавляли в столовых ложках грузила на донки и подпуска, и как археологи умеют определять принадлежность черепка конкретной древней цивилизации, так и мы отличали грузила Славика от грузил Вовика Мигунова, и грузила Юрика Офицерова от грузил братьев Фоминых. Все это были изделия сугубо ручной, скрупулезной и любовной работы: то, что англичане называют „handmade“; и если у англичан имелись ручной работы «Роллс-Ройсы», то у нас в Кокино имелось много такого рода изделий – например, «плятухи» из ивовых прутьев на все случаи жизни, которые виртуозно плел дед по прозвищу «Тентиль-Вентиль» из деревни Бабенки, или наши грузила, подобных которым не было нигде в мире.

Так вот, как-то однажды на нашем стрельбище проводились соревнования районного масштаба, и мы ходили возбужденные уже за три дня до этого события, представляя себе сколько свинца будет заколочено в наш глиняный склон. Во время соревнований за спинами стрелков маячили сразу две армии – Зуева и наша – с лопатами наизготовку. Представитель ДОСААФ даже пошутил: «Это что – из похоронной команды?», и крикнул нам: «Дети,

идите домой: трупов не будет!». От него пахло винцом. – «Иди сам проспись, – буркнул ему в ответ наш отчаянный полковник Зуй, – а то один труп будет точно!». Хорошо что начальник не услышал...

Мы с нетерпением ждали конца соревнований, и оглушительно кричали «Ура!», когда награждали победительницу – студентку нашего техникума. Не успели спортсмены разойтись, как мы кинулись на свинцово-глиняный редут с лопатами наперевес. Мы сообща рылись в глине до самых сумерек, и результат поражал всякое воображение: уже штук по пятьдесят пулек лежало в карманах у каждого, а свинцовые катышки все попадались и попадались. И вдруг, разминая очередной бурый комок, Славик Бриванов воскликнул: «Ой!». Это было совершенно особенное «ой!», не такое как от прищемленного пальца или от больного зуба, поэтому мы сразу обернулись в его сторону и увидели на его ладони зеленый шарик размером с крупную вишню. Это было и впрямь поразительно: откуда мог такой ярко-зеленый шарик стеклянного вида очутиться на полуметровой глубине глиняного обрыва? Мы оставили свои лопаты и собрались вокруг Славика с его шариком. Обтертый от земли, обмытый слюнями и отполированный о штаны, он был прекрасен, как пришелец из далекого космоса. Он был цвета молодой весенней травы, слегка прозрачный, с загадочными тенями в изумрудной глубине и зачаровывал безупречностью формы и всем своим праздничным видом – особенно на фоне наших грязных ладоней. Мы стали гадать о происхождении чудесного шарика, и первая версия как раз космической и была: он прилетел с Марса, от зеленых человечков! Затем позвучали и другие предположения: это остекленевший глаз циклопа; это первобытно-общинное украшение древних женщин; это Рылько потерял в гражданскую войну; это часть клада Синдбада-морехода; это шпионское подслушивающее устройство; это изумруд с ВДНХ; это крот где-то сожрал на стороне, а здесь у нас высрал. Самые невероятные версии сочинялись бы нами и дальше, но тут Славик положил шарик в карман и сказал, что ему нужно идти домой. Славику полагалось приходить домой до темноты: папа у Славика был сам очень дисциплинированный и от Славика требовал того же. Но у нас на «полянке» действовали другие законы, и мы сказали Славику: «Стоп-стоп-стоп, Славичек, а с чего это ты взял, что шарик – твой? Копали вместе, значит шарик – общий, а то что он попался именно тебе, так это чистая случайность. Мог ведь он попасться и Вовику, и Юрику, и Витьке Зую, и

Гарьке – да кому угодно!». Славик возражал, что раз он нашел, то шарик – его и что иначе не бывает. Юрик сказал, что как раз иначе и бывает: если рыбаки за китом гоняются и на гарпун его сажаят, то что – кит тоже тому принадлежит, который его первым увидел, или который гарпун в него бросал? Нет уж, кит принадлежит всем! Вот поэтому и шарик тоже – общее достояние! Зуй вообщем предложил отобрать у Славика шарик и вызвался сделать это единолично, но мы ему не позволили: Славик был не зув офицер, а мой личный адъютант, и отдавать его врагу на растерзание никто не собирался. Поэтому как старший по званию в своей армии я распорядился по-справедливости так: шарик принадлежит всем присутствующим копальщикам свинцовых пулек одинаково, это правильно, но Славику чуть-чуть больше, чем другим, поэтому владеть шариком будут все по очереди, по неделе каждый, а Славик начнет владение и будет в первый раз владеть им две недели, а потом уже по неделе, как все. Разыграли на «морского» очередность обладания шариком после Славика, и все разошлись в меру удовлетворенные, включая Славика, довольного тем, что шарик у него не отобрали.

Итак, мы разошлись со свинцом... (чуть не написал по инерции: «в груди...») в карманах и в приподнятом настроении от странной находки. Я рассказал дома о чудесном шарике, но родителей это почему-то мало заинтересовало. «Что, шарик? – переспросил отец, – зеленый? А чем воняет? Ничем? Стекланный? Гм, интересно...», – и это было все. Он снова углубился в чтение. Мама шила на машинке, она выслушала меня уже внимательней и спросила, не может ли этот шарик порезать руки, раз от стекланный. И когда наступит моя очередь владения шариком. Я сказал, что шарик гладкий и ласковый и посетовал, что мне выпало владеть последним, через шесть недель. – «Что ж, значит надо ждать», – сказала мама довольно рассеянным тоном, и я понял, что тема шарика ей тоже не особенно интересна. А как жаль, что они, мои такие умные родители, не заинтересовались зеленым шариком с самого начала. Если бы они заранее знали, что это за шарик! О, сколько неприятностей можно было бы избежать нам, кокинцам и, возможно, даже всему человечеству в целом!

Страшные преступления шарика начались уже на следующий день. Славик заболел свинкой. Название болезни звучит смешно, но хворь эта противная и заразная. Меня к Славику не пускали, так что лежал он, бедняга,

дома совершенно один и смотрел диафильмы через фильмоскоп. Шарик был постоянно с ним и спал у него под подушкой, признался Славик позже. Он проболел три недели, сбив этим график владения шариком, а сразу после выздоровления передал с тяжелым вздохом шарик Вовику Мигунову. Дурак Вовик в тот же вечер случайно проглотил шарик, взяв его в рот подержать, поскольку ему втемяшилось, что шарик обладает свойствами неземной сладости. После этого Вовик подстерегал шарик два дня и ходил на ведро, а не в уборную на улице. Он шарика дождался, и мы все издевались над ним с вопросом, остается ли шарик все таким же сладким. На что Вовик остроумно огрызнулся: «Сами попробуйте». Тьфу! Накануне передачи шарика Зую, жившему у Мигуновых за стенкой, в то время когда шарик находился еще во владении Вовика, грузовик, разъезжаясь с другим грузовиком, наехал на велосипед Вовикова папы Римма Ивановича, лежавший у края дороги, и раздавил его. Какое отношение имеет шарик к раздавленному велосипеду? – спросите вы. Вроде бы никакого. Но посмотрим, что происходило дальше...

Была у Зуя бабушка, очень милая старушечка, любившая угощать детей яблочками. Витька говорил про нее, что она тихопомешанная, но мы ему не верили: почему тогда он сам буйно–, а не тихопомешанный? Ведь яблочко от яблони недалеко катится, не так ли?... Так вот, бабушка Зуя, выполняя всякую разную домашнюю работу, взялась однажды стирать Витькины «пиратские» штаны, пока сам Зуй находился в школе. Опытная бабушка, прежде чем замочить штаны, вывернула карманы, чтобы не испортились какие-нибудь Витькины карманные сокровища. И вот из одного кармана выскочил зеленый шарик, упал на пол и укатился. Бабка поискала его везде, не нашла и стала стирать. Она уже и забыла про выпавший шарик, но когда пошла выносить постиранные штаны во двор, на веревку, то в темном коридоре наступила на шарик (он там специально для этого притаился!). Бабке стало больно, она испугалась, дернулась, упала и сломала руку. И произнесла вот такие слова: «Чертов шарик!». С досады она выбросила шарик за дверь, в палисадник. Зуй там его нашел и накричал на раненую бабку, за что получил воспитательную порку от отца. Но это было еще не все. Пока шарик находился во владении Зуя, свинья Зуевых сожрала их же зазевавшегося петуха. Но даже и тогда еще, несмотря на вещие слова бабки, зловредные свойства шарика оставались для нас неочевидными. Мы всё еще никак не связывали несчастные события в

наших семьях с наличием шарика. Однако после того, как шарик перешел во владение к Юрику, и у Офицеровых через два дня после этого подход от чумки другой Шарик, собачка, Юрик воскликнул:

– Вот же шарик этот хренов! Сперва бабку Зуевых чуть не угробил, а теперь Шарика моего уморил.

– А причем тут шарик? – удивился я.

– Ну как же? Я его Шарику нашему показал, а он его полизал и чихнул. А ночью стал выть. А потом окочурился.

Смерть Шарика – это был уже повод для серьезного разговора, и я вечером посвятил родителей в козни зеленого шарика, припомнив ему и Славикову свинку, и раздавленный велосипед, и поломанную руку бабки, и мертвого Шарика. Я предупредил родителей, что через несколько дней зеленому шарика предстоит перейти в мое владение. Как ни странно, родители и на сей раз не встревожились, а отец сказал: „Na, dann handelt es sich hier wohl um eine echte Pech-Kugel!“ (отец говорил иногда дома по-немецки, чтобы не забыть язык окончательно). То, что он сказал, означало: «Стало быть, это настоящий шарик-невезунчик!». И отец засмеялся. Когда на следующий день после того, как я занес зеленый шарик в дом, утром не завелся наш «Москвич», и оказалось, что лопнула пружинка в тормблере, отец уже не смеялся. Только через неделю мастер-золотые руки Петр Яковлевич Панов нашел запчасть и отремонтировал машину. Но осматривая машину, он обнаружил еще одну неожиданную подлянку: алкогольно настроенный хореk прогрыз, оказывается, тормозной шланг в двух местах, так что первое же нажатие на педаль означало бы отказ тормозов на дороге. Вот вам и шарик...

Дальше на очереди был снова Славик, и я честно предупредил Славика о своих подозрениях насчет преступлений зеленого шарика. Славик немного засомневался, но соблазн пересилил опасения, и он шарик у меня забрал. В ту же ночь все тот же хореk, что попортил нам шланги, а может и его ближайшие родственники загрызли шесть кур в сарае у Бривановых. Утром Славик принес мне шарик и сказал, что он его больше не хочет. Что было делать? Я собрал совет.

– Закопать гада обратно на стрельбище, – предложил Юрик, – раздолбать молотком и закопать!

– Да, а долбать ты будешь? – спросил Зуй, – я, например, не собираюсь. Ему ничего плохого не сделали, и то он бабку нашу чуть было не уколошил. А если его раскурочить, так неизвестно, что он сотворить может. Закопать как есть. А еще лучше училке нашей подложить в сумку, ха-ха-ха! Вот это идея!

– Ты подложишь? – спросил я его.

– Не, мне нельзя, – вздохнул Витька, – у меня жопа с последнего раза еще не зажила, инвалидом могу стать...

– Тогда я подложу! Мазилкину! – объявил я ребятам, и все посмотрели на меня с особым почтением. И я понимал почему – потому что от меня этого не ожидали: ведь я ко всякому шкодству относился неприязненно, это все знали. Но шкодство шкодству рознь. Шкодство, оправданное благородной целью, превращается в доблесть. А справедливая месть как раз и есть благородная цель. У меня возникла блестящая идея отомстить моему давнему обидчику, учителю рисования Аркадию Никитичу Мазилкину. Настоящая фамилия у него была другая, конечно, но все его звали Мазилкиным и, пожалуй, не всякий даже и помнил его настоящей фамилии. Я, например, не помню. Этот Мазилкин пил мою кровь уже давно. Он меня почему-то ненавидел – я это хорошо чувствовал –, и ненависти своей давал выход. Это было подло. Все-таки, он был учитель, а я был маленький. Я очень страдал от его несправедливых оценок и от его издевательств. Уже одно то оскорбляло, что делая переключку в классе, он всегда сразу два раза искажал мою фамилию: один раз в ударении и второй раз в букве «ф», которую он произносил по-белорусски – «хв», хотя совершенно нормально умел говорить по-русски. «Шенхвельд!»,- вызывал он меня, и если я из протеста молчал, то он тут же, глядя на меня в упор, говорил: «Отсутствует. Ставим прогул!».

– Я тут! – не выдерживал я.

– Стань в угол! Я тебе слова не давал.

– Это меня-то – в угол! Меня? Круглого отличника по всем предметам, кроме рисования, и лучшего ученика по поведению, за которого родителям всегда грамоты дают!

После того, как я отказался стать в угол, он поставил мне кол. Я сунул альбом в ранец и убежал с урока. С этого начался наш с ним затяжной конфликт. Как-то мой отец поговорил с директором школы, и Мазилкин присмирел. Он просто перестал меня замечать. При этом, что бы и как бы

хорошо я не нарисовал: кувшин с тенями или горшок с цветком, он всегда ставил мне только «тройки». Однажды домашнее задание – нарочно! – сделал для меня папа (а он рисовал великолепно, в сто раз лучше самого Мазилкина!). И за этот рисунок я тоже получил «тройку». Рассерженный и обиженный этим до крайности, я вышел к доске и сказал Мазилкину:

– Это рисовал мой отец!

– Ах вот оно что! – воскликнул Мазилкин и переправил в журнале «тройку» на «двойку». Дома, вечером, дрожащего от негодования и исходящего слезами, меня успокаивала мама. Один только раз – именно тогда – услышал я из ее уст сказанные в моем присутствии резкие, ругательные слова в отношении взрослого человека, более того – учителя!

– Мальчик мой, не надо плакать, – сказала мама, – этот человек – идиот. Такие бывают на белом свете. Ты еще встретишь не одного подобного в жизни. Делай вид, что не замечаешь его. Если тебе невмоготу – не ходи на его уроки. Мы тебя ругать не будем. И наплюй на его «двойки» и «тройки»: ты на хорошем счету в школе, в четверти у тебя все равно будет «четверка» – вот увидишь, и это будет соответствовать правде. На «пять» ты не рисуешь, сказал папа, и «четверка» как раз справедливая для тебя оценка.

– Как же из сплошных «троек» получится в среднем «четверка»? – хотел я знать.

– Жизнь – это не совсем арифметика, – немного загадочно ответила мне мама, и в конце четверти я убедился, что она опять, как всегда, оказалась права: по рисованию мне в таблице проставлена была «четверка». Так я исподволь учился неарифметической правде жизни.

Вот этому-то Мазилкину я и собирался отомстить за все хорошее. Однако, прежде чем я поведаю о том, как наш зеленый шарик навредил Мазилкину, требуется сделать еще одно сообщение насчет самого Мазилкина, а также рассказать про Васика Комарова – моего одноклассника.

Мазилкин был алкоголик. Причем в отличие от учителя труда, который тоже был пьяницей, но пьяницей фронтовым, орденосным, спившимся на фронте, спасаясь от морозов и страха, Мазилкин спился просто так, от слабого характера, как объясняли взрослые. И если пьяный «трудолик» жалел нас и говорил: «Ну чего плачешь: маленький потому што? Ничо, радуйся покуда

маленький, подрастешь – еще больше лиха хлебнешь...», (Васик Комаров, наш классный комик, спрашивал у учителя, сколько градусов у лиха, но Виктор Степанович не злился, а только смеялся и отвечал: «Ох, крепкое, лучше не пробуй никогда...»), то Мазилкин, «перенедопив», то есть выпив больше, чем мог, но меньше, чем хотел, становился особенно злым. Он ставил какой-нибудь предмет на учительский стол – да хоть веник! – и заставлял его рисовать. Сильно пьяный, он ходить по рядам уже не мог и поэтому только зыркал глазами со своего стула и ставил двойки тем, кто отвлекается и не рисует. Таких моментов Васик и ждал. Он спрашивал Мазилкина с задней парты: «Аркадий Никитич, как насчет буль-буль-буль-буль?», – и многократно щелкал себя по горлу, задрав голову набок. – «Тебе кол!» – парировал Мазилкин, наливаясь синей кровью. – «А тебе два кола!» – скрещивал с ним шпагу остроумия отчаянный Васик. Мазилкин вскакивал, цепляясь за край доски, чтобы не упасть. Васик вскакивал тоже и тоже делал вид, что качается. При этом он дразнился: «Опа-опа-опа, где мой пьяный жопа?». После этого начинался спектакль: Аркадий Никитич срывался с места и неуправляемой торпедой летел по ряду, взяв направление на Васика. Мы в спешке убрали с парт альбомы, карандаши, чернильницы – все, что может быть повреждено в результате бега по партам. Ибо дальше начинался бег по партам. Васик удирал, прыгая со стола на стол, а учитель его пытался догнать, рискуя жизнью, потому что Васик был прыгучий и легкий, как блоха, несмотря на то, что скакал со школьной сумкой в руке, а Мазилкин мог в любой момент навернуться с высоты и сломать себе шею. Побеждал, конечно же, каждый раз Васик. Когда ему надоедало скакать, то он спрыгивал на пол и спокойно исчезал за дверью, отлично понимая, что в таком пьяном состоянии учитель ни преследовать его по школе не сможет, ни жаловаться к директору не победит. На следующем уроке обе стороны конфликта (если Васик присутствовал в классе) делали вид, что ничего не произошло.

За эти спектакли я Васика обожал, и дружба наша с ним не складывалась по-настоящему только потому, что он презирал «преподавательских маменькиных сынков». Помимо этого, он как-то настороженно относился к моей национальности и, хотя и не обзывался в лоб, но мог, глядя в сторону, пропеть что-нибудь типа: «По блату, по блату спалили немцы хату...». Короче, Васик держал со мной определенную дистанцию, ну и я поэтому тоже не набивался к

нему во товарищи. Само собой разумеется, что в классном журнале против фамилии «Комаров» на странице «Рисование» стояли одни «колы». За четверть, однако, так же, как и в моем случае, по закону неарифметической жизни, этих «колов» набиралось на «двойку». Однажды Васик попросил учителя разъяснить ему этот феномен: как из двенадцати «колов» получается одна «двойка»? Тогда Мазилкин выдал перл. Он сказал:

– «Кол» – это оценка производственная, а «двойка» – государственная! От меня ты получаешь «колы», а от государства – «двойку».

– Служу Советскому Союзу! – завопил Васик.

Такова была обстановка, предшествующая моей мести. И вот день отмщения наступил. Суббота. В расписании – урок рисования. Последний урок перед выходным днем. Настроение у всех хорошее. Мазилкин в школе, его видели в учительской. Разведка доложила, что Мазилкин «того». Васик тоже присутствовал на уроках. Шарик лежал у меня в пенале и ждал запуска в дело. Эта зеленая сволочь, правда, по дороге в школу разогнула мне скобу на ремне ранца и он упал в грязь, но я уж терпел: недолго осталось. И вот звонок на урок рисования. В тот день мы с Колей Леоновым дежурили по классу, поэтому я мог передвигаться вольней других. С мокрой тряпкой в руке, вымытой и не жирно отжатой в ведре уборщицы тети Шуры – за что она меня сердечно похвалила – я подгадал так, чтобы войти в класс следом за учителем, вплотную к нему. Когда мы были в дверях, я достал из-под тряпки и незаметно сунул шарик в раззяванный от частого ношения бутылок карман Мазилкиного пиджака. Все. Дело сделано. Я старательно вытер и без того чистую доску, сел на место, достал альбом и карандаши и стал ждать. Я оглянулся. У Васика на парте было пусто: ни альбома, ни карандаша. Значит, ему будет скучно. Значит, жди спектакля. Мазилкин находился в средней стадии: он не качался. «Сегодня Васик не рискнет», – поделился я соображениями со своим соседом по парте Димой Самсоновым. – «Наверно, не рискнет», – согласился со мной Дима. Но Васик рискнул. Когда Мазилкин выставил на учительский стол старый-престарый ботинок с оторванной подошвой и торчащими гвоздями – хорошо, до блеска начищенный, правда – и приказал его срисовывать с учетом теней, Васик для разминки спросил, не холодно ли учителю сидеть в одном ботинке и что, дескать, может быть, второй будет еще лучше для срисовывания: пусть,

мол, выставит на стол оба, а мы уже сами решим какой рисовать. Мазилкин решил на провокацию не поддаваться. Он лишь посинел от злости и рявкнул: «Всем работать!».

– Аркадий Никитич, буль-буль-буль-буль..., – послышалось сзади, и дальше пошло, как по нотам:

– Комаров, тебе кол!

– Мазилкин, тебе – два кола... ой, опа-опа-опа..., – и вот уже Мазилкин мчится по ряду, и вот уже мы убираем альбомы, и вот уже Васик носится по партам, и вот уже Мазилкин скачет за ним, и девчонки визжат, и пацаны вопят: «Лови его!», «Лови его!»...

Все началось как всегда, но закончилось иначе. Потому что на этот раз в кармане у Мазилкина лежал мой зеленый шарик. Я не ожидал, конечно, что шарик сработает так быстро, но он долго провалялся без настоящего дела и поэтому, наверное, истомился от безделья и не хотел тянуть с провокациями. В общем, случилось следующее: Мазилкин оступился в погоне за Васиком и рухнул с парты в проход. При падении он ударился головой о парту Вали Лисицыной, упал на пол и остался лежать неподвижно. Вокруг его головы расплзлось кровавое пятно. Валя побелела и упала в обморок, но поскольку мы до этого не видели как падают в обморок, то все решили, что Валя умерла тоже. Поднялся страшный крик, и вой, и плач. Я сидел, обхватив голову руками и зажав уши и твердил себе только одно: «Негодяй! Негодяй! Негодяй!». Теперь уже не помню кого я имел в виду: шарик, Мазилкина, или себя самого, все это устроившего. Из соседних классов сбежали учителя и ученики. Крики, топот... Мазилкина подняли с пола. Залитый кровью, он бессмысленно хлопал глазами. Лоб у него был глубоко рассечен, и из черепа все еще хлестала кровь. Мазилкина увели по дороге в сторону сельской больницы. Валя Лисицыну, которую разбудили, нахлестав по щекам, увели тоже – в учительскую, дышать нашатырной водой. Васика Комарова объявили в розыск... В общем, через час полундра кое-как улеглась, все разошлись, и мы с Колей Леоновым остались вдвоем, убирать класс. Я боялся мыть кровь, и Коля, который часто видел как режут свиней, предложил сделать это в одиночку при условии, что я уберу все остальное и вынесу мусор. Я согласился. Когда уборка была в разгаре, Коля вдруг вскрикнул: «Ух ты!». Я обернулся. Коля посмотрел под парту Вали Лисицыной, затем нагнулся, побряхтел, достал что-то, выпрямился и показал

мне... мой зеленый шарик. Он выпал из кармана Мазилкина при падении! «Это мой шарик!» – чуть было не закричал я, но вовремя осекся. Незачем Коле знать, что едва живой Мазилкин – это дело моих рук...

– Это, наверно, Валькин шарик, – предположил я и с опозданием прикусил язык: не хватало, чтобы этот Пех-кугель попал в руки ни в чем не повинной Вали. Но Коля и не собирался признавать такую возможность.

– Ха, Валькин! – возразил он, – на нем не написано, что он Валькин. Был Валькин, а стал Колькин. А может, он и ни Валькин, а Анькин. Анька Синицина тоже на этой парте сидит. Так что я теперь – разбираться должен, чей это шарик? Даже и не собираюсь. Я нашел, значит, шарик мой.

Это тоже было неправильно. Коля был хороший пацан, шарик не должен был остаться у него. Шарик должен был вернуться в глину и там остаться навсегда! Это было теперь единственно правильным решением.

– Коля, подари его мне, пожалуйста, – стал я умолять одноклассника.

– А вот хрен тебе! – разозлился Коля, – вам на вашем Бедном поселке все подавай! И машины у вас есть легковые, и шарики чужие вам отдай. Не отдам! Докажи, что он твой.

Мне стало обидно:

– Дурак ты, Коля. Я же тебе по-дружески предлагаю. Я даже поменяться с тобой могу на что-нибудь за этот шарик. Понимаешь, какое дело: это зловредный шарик, он беду приносит...

– Ага, ага, бреши больше... напугал, ага... думаешь, самый хитрый... вы там все хитрые, на Бедном поселке... все равно не отдам. Зачем он тебе, если он беду приносит, а? – сощурился Коля, припирая меня моим же собственным аргументом, – ага, видишь? Я же сказал, что ты брешешь! Только сбрехать не можешь складно... Все, я домыл и пошел, а ты оставайся, как договорились, и мусор выноси.

– Ну и черт с тобой, Коля. Но я тебя предупредил.

– Предупредил, предупредил, ладно... вот же хитрец какой... шарик ему отдай, – и с этими словами Коля покинул класс.

Что ж, я сделал все, что мог. Жаль, конечно, что Мазилкин оказался наказан так жестоко и кроваво, и жаль, что Коле теперь придется терпеть безобразия шарика, но ведь я действительно сделал все, что мог. И я не

виноват, что Коля мне шарик не отдал. Главное – шарика больше нет, и все теперь будет хорошо.

И действительно, все наладилось с тех пор у нас, жителей «Бедного поселка». Всякого рода неприятности, разумеется, происходили и дальше в каждой семье, но они никакого отношения к шарiku уже не имели, потому что не было никакого шарика больше. Зато беды начались в других местах. Так, зимой у Леоновых сгорела деревянная сарайка, примыкающая к кирпичному сараю. Якобы закоротило проводку, которой там не должно было быть. За что Леоновых еще и оштрафовали впридачу. Узнав об этом, я многозначительно посмотрел на Колю, но он сделал вид, что меня не понимает. Я отстал от него с моими намеками. Ладно. Зима кончилась. А весной, во время майской грозы, первым громом, который так хвалил поэт Тютчев, убило на лугу корову Леоновых. Все другие коровы остались целы, а леоновская – погибла! Когда мне Коля об этом сообщил, я спросил его: «А зеленый шарик еще у тебя?», и он выпучил на меня глаза, как на умалишенного, хотя на чокнутого при этом был похож он сам. Он мне ничего не ответил. Ладно. Наступили летние каникулы. В сентябре мы встретились с Колей снова, уже в следующем классе, повзрослевшие на целое лето. Я похвастался, что был на Черном море и нырял с маской. Коля со своей стороны похвастался, что чуть не утонул в Десне. Тогда, испугавшись, я спросил его:

– А где шарик?

Коля, не глядя мне в глаза, сообщил, что подарил шарик двоюродному брату Вовке, верней, обменял его на хромированный замочек с колесиками: хрен откроешь, если шифр не знать...

– А где двоюродный брат твой живет? – поинтересовался я.

– В Новочеркасске, – сказал Коля, – они с дядькой моим в гости приезжали – сарай строить. Дядька там на заводе работает. Мы с Вовкой вместе ныряли. Он меня и вытащил, когда я трусами за корч зацепился. Он меня на год старше, здоровый, гад. Тоже на море плавать учился. На Азовском. Плавает, как акула. Без трусов меня вытащил, гад, за волосы. А кругом девки были!

– А Новочеркасск далеко? – хотел я знать.

– Далеко, – сказал Коля, – на юге где-то.

– Слава тебе господи! – воскликнул я, и Коля в который уже раз посмотрел на меня удивленными глазами.

На этом историю зеленого шарика и кокинских кладов можно было бы и закончить, если бы у этой истории не было еще одного маленького довеска, относящегося к более поздним временам. Я был уже студентом, жил в общежитии на Новоизмайловском проспекте в Ленинграде и иногда, по воскресеньям играл в футбол на пустыре между общежитиями. Как-то сами собой сложились команды, и мы бились ВУЗ против ВУЗА: пединститут против ЛИАПа, ЛИАП против ЛИТМО и так далее. Я сдружился с другим нападающим из команды пединститута по имени Руслан, который учился на дефектологическом факультете. Мы скорешевались с этим Русланом до того, что пошли однажды в пивбар «Уголек», чтобы залить жажду после очередного матча. За пивом мы разговорились о жизни. Руслан спросил меня почему я поступил в пединститут. Я сказал ему, что вообще-то хотел учиться в физтехе, но с моей национальностью туда не берут, так что пришлось идти на факультет физики пединститута. В педвузы немцев принимают.

– А ты почему? – спросил я его.

– А приблизительно потому же, – ответил он, – я хотя и украинец наполовину, а наполовину русский, но я тоже из «неблагонадежных». У меня отца расстреляли...

– Как это? В наше-то время? Или еще при Сталине успели? Так тогда ты отца своего и помнить не должен бы...

– При каком еще Сталине? В шестьдесят втором году уже! Хрущев его расстрелял. Все я помню отлично!

– Как Хрущев? За что?

– Ни за что. За забастовку на заводе. Из пулеметов! Сволочи! Ненавижу!

– А где это было?

– В моем родном городе, где же еще. В Новочеркасске. На заводе.

– Как ты сказал? На заводе? В Ново... в Новочеркасске? Это на юге?

– Ну да, на юге, конечно, в Ростовской области.

– Руслан, а в каком году это случилось?

– Так я же сказал уже: в шестьдесят втором, мне двенадцать лет было...

– Все сходится, – пробормотал я, – в шестьдесят первом корову убило... двоюродный брат приезжал... Руслан! А у вас не было в доме зеленого шарика?

– Какого еще шарика? Ты чего? Не было никакого шарика... а может, и был... при чем тут шарика вообще?

– Черт побери! О, черт побери! Шестьдесят второй год! Новочеркасск! Это он, это мой зеленый шарик! – завопил я, и Руслан от меня отшатнулся, сбив на рукав пену с очередной кружки.

– Ты чего это, набрался уже, Игорек, что ли? – участливо спросил он, – так всего-то по три кружки засосали...

– Шарик, шарик, это точно его работа, – продолжал бубнить я в страшном возбуждении, и Руслан усмехнулся вдруг:

– А, вон ты про какой шарик! Ну да, тогда понимаю. Это который из-под шкафа выкатывается, морды корчит, блатные песни поет и голую жопу показывает. Зеленый, как огурец, и с пупырышками, все правильно. Мне батя про него тоже рассказывал... А пошли-ка мы до дому, Игорек...

– Руслан, я тебе должен кое-что рассказать про этот шарик. Тут дело нешуточное...

– Игоречек, я понимаю, что это дело нешуточное... Обязательно расскажешь когда-нибудь... А теперь пошли отсюда. Я тебя до самой комнаты доведу, ты не бойся...

Кажется, мы с Русланом в футбол больше не играли. А, может быть, и играли, но пива вместе точно не пили больше. А поэтому про роль зеленого шарика в гибели его отца он так и не узнал. Но, возможно, это и к лучшему...

Завершая этот опус про зеленый шарик, я хочу поделиться с читателем своим величайшим подозрением и вытекающей из него, не менее великой идеей.

Подозрение состоит в том, что в конце семидесятых годов зеленый шарик неведомым образом попал в Москву, в Политбюро, после чего началась война в Афганистане. И вообще – началось! Кремлевские старцы мерли один за другим, со Свердловска и Ставрополя прибыли в Москву партавантюристы крупного калибра и подняли бучу перестройки, в результате чего Советский Союз рухнул и похоронил под своими обломками сто народов. Если это был мой шарик, то он сработал глобально! И вот теперь, не отпускаемый чувством

ответственности за произошедшую катастрофу, я спрашиваю себя, как Чернышевский: «Что делать?». Чернышевский так и не смог ответить на этот вопрос, потому что он не был изобретателем. У меня же на сегодняшний день имеется пять авторских свидетельств, и я отлично знаю, что лучшими изобретениями являются те, в которых решение проблемы извлекается из самой проблемы: то что в народе называется «клин клином вышибают». Примером такого рода решений может служить активная броневая защита современных танков, когда удар вражеского снаряда нейтрализуется собственным взрывом. И вот, следуя этому принципу, возникла у меня великолепная, если не сказать – гениальная! – изобретательская идея. Ею я и закончу:

Товарищи! Господа! Москвичи! Люди мира! Пошарьте в своих столах. Шкафах. Тумбочках. Шифоньерах. Сундуках. Коробках. Ящиках. Сумочках. Шкатулках. В карманах, наконец. Все зеленые шарики, которые вы обнаружите (теперь уже некогда разбираться, какой тот, а какой не тот) положите в коробку с зелёными леденцами (для обдура таможни). Поезжайте в Америку. Запишитесь на экскурсию в их Белый дом. Подбросьте незаметно свой шарик в любом месте: под ковер, за портрет любого из их президентов – да хоть в мусорку! Пусть это станет традицией! Рано или поздно нужный шарик – МОЙ ШАРИК – попадет туда. И все! И мир будет спасен! Шарик сам разберется и с гонкой вооружений, и с перегретым печатным станком, и с авианосцами, и с авиабомбами, и с самонаводящимися ядерными боеголовками. Доверьтесь ему. Он такая сволочь, что ни одна другая сволочь его не пересволочит! Я знаю о чем говорю! Я вам дело говорю! Потому что я его знаю с момента его появления из набитой свинцом кокинской глины! Отвезите шарик в Америку! Знайте: он не должен оставаться в России! Иначе России – конец! Что ее погубит – сказать наперед невозможно. Это может быть ювенальное законодательство, реформа армии, генно-модифицированные продукты из-за океана, прививки от пандемии, героин из Афганистана, свиной грипп, тотальная коррупция – все что угодно по отдельности, или всё вместе. Но шарик это сделает – попомните мое слово. Я его знаю! И поэтому еще раз: везите все зеленые шарики в Америку!

Даже если геройство ваше останется безвестным, помните: это будет величайшим вашим подвигом во имя всего человечества. Каждый, занесший зеленый шарик в Белый дом Соединенных Штатов Америки, может считать себя великим героем! И когда это зло – Соединенные Штаты – исчезнет с планеты Земля, тогда всем вам, зеленым шариконосам, будет поставлен общий памятник! Будет он возведен из черного гранита в виде фигуры в плаще и маске, как у «Мистера Икс», ростом с останкинскую башню, и в вытянутой руке этой фигуры будет лежать на ладони огромный зеленый шар с подсветкой, видный из космоса. Чтобы дьявол даже оттуда боялся приближаться повторно к нашей прекрасной и единственной во Вселенной живой планете.

Да, еще такая личная моя просьба к каждому из вас: оставляя свой зеленый шарик в Белом доме, передавайте, пожалуйста, Белому дому большой привет от пацанов «Бедного поселка!». Именно этими словами. До американцев, разумеется, смысл этого приветствия не дойдет, но мой зеленый шарик, если это будет он – уж он-то точно будет знать что ему дальше делать...

Протокол

Как уже упоминалось ранее, очень серьезной темой у нас на «полянке» была тема коммунизма.

Один из ожесточеннейших споров происходил, насколько помнится, по вопросу, кого возьмут в коммунизм, а кого нет. Славик Бриванов, мой адъютант, утверждал, что брать в коммунизм будут только круглых «пятерочников», и чтобы по поведению тоже не ниже «четверки» стояло. Юрик же Офицеров яростно возражал, что с «тройками» в следующий класс переводят, а с «двойками» нет, а значит и в коммунизм будут брать с тройками – хоть по поведению, хоть по пению, хоть по всем предметам сразу. Потому что коммунизм делается для всего народа, а не для каких-то там маменькиных пятерочников.

– Ха-ха,– перечил ему Славик,– что это тогда за коммунизм будет? Тогда уже сегодня можно коммунизм объявлять. У нас вон два «пятерочника» в классе всего, а остальной весь народ – «троечники». Какой же это коммунизм получится с такими-то дураками?

– Сам ты дурак! – завизжал Юрик, – нет, вы посмотрите на него: одних только пятерочников он хочет в коммунизм брать! Совсем опупел! А остальные

куда денутся? За забором останутся? Ты будешь со своими пятерочниками за кремлевской стеной сидеть в коммунизме, а я вокруг бегать в первобытно-общинной шкуре и дубинкой размахивать, что ли? Во договорился, пятерочник наш ученый, во договорился! А знаешь что тогда будет? Тогда троечники, что за наружной стеной остались, на Кремль твой кинутся и обратно революция произойдет, и вас, отличников, сметет с революционного пути!... – и Юрик для наглядности толкнул Славика, сметая его с вершины холма, и тот покатился с обрыва вниз, в заросли репейника. Разразился бурный конфликт. Плакать офицерам было запрещено, поэтому Славик стал кричать снизу, что вызывает Юрика на дуэль. Дуэли на палках или строительных дранках были также запрещены среди офицеров собственной армии с тех пор как Сашке Фомину чуть не выкололи глаз, но вместо них были введены дуэли рисовальные. Их придумал лично я, и всем они очень нравились, потому что все конфликты кончались смехом и примирением, а не уходом во вражескую армию, как раньше. Рисовать разрешалось дома, но на дуэльную карикатуру выделялись только одни сутки. Не успел – проиграл: снимай одну звездочку с погон долой! Вот так это работало. Проигравшего же в самой рисовальной дуэли в звании не понижали: он должен был только прокатить победителя три раза вокруг штабного блиндажа на горбу верхом под всеобщее улюлюканье. Короче, я объявил дуэль начатой, и мы разбежались по домам: все равно уже смеркалось. Юрик, правда, бурчал, уходя: «Как же, конечно: ему батя помогать будет...», но это правилами не запрещалось: пусть тебе хоть Шишкин с его медведями помогает – лишь бы смешно получилось.

На другой день Юрик принес картинку, на которой толстый Славик стоял наверху Кремлевской стены и ел бревно, на котором написано было «колбаса». На пузе у Славика стояла цифра «5», а по Кремлевской стене шла надпись «Камунизм!». Под стеной бегали тощие, размахивающие палками человечки, нарисованные химическим карандашом и наполовину расплывшиеся от капель пота своего творца. Мы покатались со смеху. Но карикатура Славика оказалась не хуже. Она нарисована была цветными карандашами и понятно было, что папа Славика действительно помогал, причем изрядно, но от этого было только еще интересней. На картине изображалось синее озеро, из которого торчала плачущая голова Юрика. На берегу стоял человек с барабаном на шее (Юриков отец) и грозил Юрику ремнем. Рядом с ним лежал сверток с надписью «Галя».

На дне озера – глубоко-глубоко внизу, виден был утопленный велосипед, похожий формой на цифру «2» с намеком на то, что велосипед принадлежал «двоечнику». Эта карикатура была не такая смешная как Юрикова, но зато здорово нарисованная и, самое главное, отражала она реальное событие в жизни Юрика. За два года до этого Юрик поехал показывать класс езды на взрослом велосипеде по первому льду, на середине озера свалился на развороте, со всего маху проломил лед, чуть было не залился сам и утопил велосипед, после чего до самого вечера обсыхал у Славика, чтобы спастись от неминуемой домашней порки за потерю семейного имущества. Дело в том, что на велосипеде этом, помимо Юрика (Юрик катался на нем «под рамку») ездил его отец, а в будущем, когда вырастет, на нем должна была ездить и сестра Юрика Галя, которая на момент затопления велосипеда пребывала еще с головы до ног в пеленочном состоянии. Об этом и повествовала красочная картина Славика.

Комиссия долго спорила какая карикатура лучше, но в конце концов объявила ничью, так что никто не пострадал и два лучших офицера нашей армии – Славик и Юрик – при свидетелях пожали друг другу руки в знак примирения. Юрик при этом, правда, злорадно напомнил Славику: «Вот ты мой утопленный велик нарисовал, а то, что сам всех нас без велосипедов оставил – это ты забыл пририсовать. Письмо-то Хрущеву кто не отправил? Небось, ты, а не я. А я бы отправил, если б взялся, и все бы мы сейчас на новых великах ездили! Подвел ты своих товарищей, Славичек, отличничек ты наш!».

Славик стал смущенно оправдываться (в который раз уже!):

– Я вообще не виноват. Это не я его не отправил, а папа мой схватил его и порвал, когда я стал марку просить. Ишь ты, сами марку зажилили тогда, а теперь на меня все спихиваете, да?

– А кто говорил, что у него марок полно в столе у отца?

– Да, были марки, а когда я полез за ними, то их там уже не было. Папа их уже потратил. Я попросил у него, а он спросил «зачем?». Я сказал «письмо одно отправить надо». Он спросил «кому письмо?». Что я, врать, что ли, буду? Я и сказал, что Хрущеву. Что в этом плохого? Хрущев же – хороший человек, правильно? А он сказал мне: «покажи!». Я и показал. А он открыл конверт, письмо прочитал, порвал, а мне подзатыльника дал и сказал «ты дурак». Я для всех вас старался, а мне же еще и влетело...

– Ладно, Юрик, кончай на Славика бочку катить, – вступился я за своего адъютанта, – его за это уже понижали в звании, но он своей храбростью и доблестью снова восстановился до старшего лейтенанта, так что Хрущева мы ему уже считай что простили. Кто старое помянет – тому глаз вон! Все, забыли Хрущева!

– Забыли так забыли, – зловредно проворчал Юрик, – будем и дальше пешком ходить...

– Не надо было велосипед свой топить: сейчас бы на нём и ездил, – очень остроумно съязвил Славик в ответ, и все засмеялись, включая Славика и Юрика.

Приказать: «Забыли!» легко, но разве может исчезнуть из памяти такое яркое событие, как письмо Хрущеву, написанное нами, офицерами «полянки» в начале шестидесятых годов? История этого письма уходит своими корнями в оживленную дискуссию о том, когда настанет коммунизм. То была вторая по важности животрепещущая тема на «полянке»: успеем мы пожить при коммунизме, или не успеем? И вот однажды Вовик Мигунов принес радостную весть: мы успеваем! Вчера Хрущев сказал по радио, что коммунизм наступит в одна тысяча восьмидесятом году. Мы все будем уже старые, конечно, но еще успеем пожить при коммунизме от пуза, еще будет у нас всего полно, причем без денег – и велосипедов навалом будет, в том числе спортивных, со скоростями, и пуддингов вволюшку, и вообще все будет чего душа пожелает.

– Ни хрена у вас не будет при коммунизме!, – вдруг презрительно высказался Витька Зуй, – держи карман шире! Вы тут все дураки, потому что при коммунизме денег не будет, сами сказали. В магазин пришел, а денег нету! Вот тебе и весь коммунизм, облизись четыре раза.

– У тебя денег и так нету, чего тебе бояться? – съязвил Юрик.

– Ты сам дурак, Зуй, – сказал я, – при коммунизме денег не будет – это ты правильно сказал, но только при коммунизме они и не нужны будут, потому что при коммунизме в магазине всё будут бесплатно давать.

– Ага, как же! Догонят и еще раз бесплатно дадут! – виртуозно, тонкой спицей сплюнул Зуй сквозь зубы на три метра вдаль и попал в гусеницу, – наслушался немецких сказок про белого бычка! Щас, ага, пришел в магазин и велосипед себе взял, да?

– Да, пришел и взял велосипед.

– Ага, взял, как же... Ну ладно, взял. Завернул за угол, велосипед поставил, пришел обратно и другой взял, да?

– А зачем тебе другой? Ты что – на двух сразу поедешь?

– А мое дело – зачем. Бесплатно, значит бесплатно! Коммунизм, значит коммунизм! За базар отвечать надо, понятно?

– При коммунизме ты, Зуй, за вторым велосипедом и сам не придешь. Потому что при коммунизме все люди будут сознательные, и ты тоже вместе с другими.

– Как же, буду я тебе сознательный, держи карман. Я что – дурак, чтобы сознательным быть, когда все кругом бесплатно?

– Дурак! – закричали мы все дружно и даже засмеялись от этого всенародного совпадения.

После этого Вовик сообщил, что в нашем сельпо коммунизм уже скорей всего наступил, потому что тетя Тоня дала ему недавно кулек пряников бесплатно, а еще раньше – деревянный паровоз, который он взял посмотреть и не отдал больше, и так он у него и остался. А мама с тетей Тоней только смеялись весело, как при коммунизме.

Мы стали вспоминать все вместе и оказалось, что действительно – каждому из нас тоже перепадало в сельпо чего-нибудь бесплатно: одному конфета-«подушечка» с повидлом, другому жестяная коробочка от зубного порошка, третьему палочка пастилы, еще кому-то тетрадка в клетку, а Славику тетя Маша – другая продавщица – даже книжку с картинками бесплатно дала, хотя и без задней обложки.

В результате этого обсуждения кому-то из нас – кажется, Юрику – пришла в голову идея написать письмо Хрущеву и сообщить ему радостную весть о том, что у нас в Кокино коммунизм уже наступил. Конечно, мы не были идиотами настолько, чтобы верить, что у нас в Кокино уже настал настоящий коммунизм. Пока детей порют ремнями, в школах ставят «двойки» и не у всех есть велосипеды – о каком всеобщем коммунизме может быть речь? Но в предложении Юрика содержался один очень хитрый замысел, на который Хрущев мог «клюнуть»:

– Хрущев обрадуется нашему сообщению про уже наступивший в Кокино коммунизм и приедет к нам, чтобы посмотреть. Мы его встретим, все покажем, все расскажем, но пожалуемся, что у нас велосипедов не хватает на всех, и

тогда он нам – вот увидите! – каждому по велосипеду подарит. А в школе после этого ни одной «двойки» уже ни одному из нас не поставят. Я даже думаю, что вообще к доске вызывать побоятся!

– А мы ему что подарим? – спросил Славик, – мы же тоже должны ему что-нибудь подарить в ответ. Вождям всегда что-нибудь дарить положено. Вон Рыльку нашему часы с маятником подарили: я сам видел, был на концерте в клубе.

Юрик сильно озадачился. Действительно, что можно подарить главному вождю всей страны?

– Пионерский горн! – предложил Славик, – или спортивный кубок. В «Спортоварах» в Брянске продаются, очень красивые.

– Можно ему пескарей подарить, – сказал побочный внук Витенька, – наловить побольше и самых жирных подарить.

– Что он тебе – кот, что ли, чтобы пескарей твоих жрать? – фыркнул Зуй и стал хохотать. Мы тоже покатались со смеху, представив себе, как Хрущев сидит и ест наших пескарей. Витенька, гордый собой, стал кувыркаться на траве и петь песенку про американца.

В общем, идея с письмом Хрущеву застряла в наших изобретательных головах и пустила корни, и вскоре мне, как круглому отличнику, в том числе по «письму» и по «родной речи» было поручено написать письмо Хрущеву – чтобы без ошибок и с хорошими выражениями. Тогда я впервые понял, что это за тяжкий труд – писательский. Никогда не знаешь, что писать и как писать, а когда уже написал что-нибудь, то начинаешь думать, что написать можно было еще лучше, а как лучше – неизвестно. Я сказал, что письмо без ошибок напишу, но про что писать – это надо решать всем вместе.

Споры начались с первой же строчки. Например о том, как обратиться к Хрущеву. Юрик утверждал, что начинать надо «Во первых строках кланяются вам дети поселка Кокино», и перечислить нас всех по именам. Однако, по части начала я был непреклонен и сказал, что начинать нужно обязательно словами: «Дорогой Никита Сергеевич Хрущев!», причем непременно с восклицательным знаком в конце. Затем мы стали спорить, нужно ли еще добавить слово «товарищ». Юрик требовал, чтобы слово «товарищ» было во что бы то ни стало. Славик предлагал слово «дедушка», от которого Хрущев подobreет. Вовик Мигунов сказал, что должно быть не просто «дедушка», но «дорогой

дедушка». Так, мол, от его, Вовика, имени пишет его мама письма деду в Воронеж. После этого дед каждый раз присылает Вовику деньги в конверте: на подарок. Кроме этого, Вовик сказал еще, что нужно, чтобы письмо называлось «Протокол». После техникумовских собраний его папа печатает на машинке письма, которые называются «Протокол», и это очень важные письма, которые читают потом все начальники. Простые письма начальники не читают, а только «протоколы». А раз Хрущов начальник, то значит ему нужен «Протокол». Мы стали спорить, начальник Хрущов или вождь. Никто не знал, читают ли вожди только протоколы, как простые начальники, или письма тоже. На всякий случай решили написать все: и «дорогой дедушка», и «товарищ», и «протокол».

– Маслом кашу не испортишь, – подвел черту Юрик.

Еще один спор возник в связи с написанием имени и фамилии Хрущева: «Сергеивич» или «Сергеич»? «Хрущов» или «Хрущов», или «Хрусчѐв», или еще как-нибудь? В связи с этим последним вопросом пришлось провести исследование у меня дома, за которым нас с Юриком и застали мои родители. Мы как раз сидели с ним на полу и читали газеты «Правда» за все последние дни. Пришлось объяснять удивленным родителям, что мы играем в начальников. Это их очень развеселило, и папа спросил, кто из нас над кем начальник. Я ответил, что начальники мы одинаковые: один подписывает документы, а другой ставит печати. Но тут как раз Юрику попала страница с правильным написанием фамилии Хрущева, и на этом наша «игра в начальников» завершилась.

В общем, после долгих мучений письмо было составлено. Дословно я его, спустя полста лет, конечно, уже не помню, но начало и конец остались в памяти. Звучало оно примерно так:

ПРОТОКОЛ

«Дорогой товарищ дедушка Никита Сергеевич Хрущёв, Первый секретарь Коммунистической Партии Советского Союза, замечательный друг всех детей и офицеров! Здравствуйте! Вы сообщили нам по радио, что скоро уже в наш Союз Советских Социалистических Республик придет настоящий коммунизм и химизация народного хозяйства. Мы, дети села Кокино, этому делу

очень радуемся, мы стараемся для этого учиться без двоек, а некоторые даже без троек и без четверок, чтобы дожить до светлого будущего при хорошем здоровье и отличных спортивных результатах. Мы никто не курим пока. Но только мы, офицеры и рядовые дети полянки с Бедного поселка, докладываем вам радостную новость, дорогой товарищ друг детей Никита Сергеевич Хрущёв! В нашем кокинском сельпо-магазине и кое-где еще в Кокинских буфетах коммунизм уже наступил. Еще он не совсем настоящий, но уже кое-что детям дают в сельпо бесплатно. И подарки на Новый год все дети тоже получают уже бесплатно. Но велосипедов бесплатно, конечно, никому не дают. Это надо нам ждать большого коммунизма. Но только тогда мы будем уже старые, и кто-нибудь из нас может с велосипеда запросто маздануться по причине слабого пенсионерского здоровья и головокружительности в голове. У нас на Бедном поселке даже есть такая народная поговорка про велосипеды: «Дорога ложка к обеду». Но тут уже ничего не поделаешь, а мы будем все равно ждать. Очень мы все будем сильно радоваться, когда вы к нам приедете, дорогой товарищ, друг детей Хрущёв Никита Сергеевич. Мы вам тут все покажем и расскажем. Мы каждый день бомбим Америку. Конечно, мы еще не достаточно взрослые, и бомбы наши долетают только понарошку. Но когда-нибудь мы вырастем, как раз к коммунизму, и тогда уже мы не промажем. Это дело мы вам торжественно обещаем, дорогой товарищ Никита Сергеевич Хрущёв и самый лучший друг детей!

Приезжайте к нам в гости за милую душу!

Как ваше здоровье, дорогой товарищ Никита Сергеевич Хрущёв?

Наше здоровье хорошее, и мы ждем вас в гости с большим нетерпением. Мы сделаем для вас парад по стадиону на велосипедах, даже хотя велосипеды есть и не у всех у нас. Так что некоторые наши офицеры будет ехать вдвоем, а кое-кто и под рамку поедет, если у него ноги еще не достают до педалей на взрослом велосипеде, а орленка или школьника подходящего взять ему не где.

***Да здравствует советский Союз! Да здравствует Коммунистическая
Партия Советского Союза! Да здравствует пик коммунизма! Миру Мир!
Долой колониализм! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!***

***До свидания, дорогой Никита Сергеевич Хрущёв, самый большой друг
детей. Жмем вашу руку и желаем успехов в труде и большого семейного
счастья. Ура!!!!»***

Конец протокола

Вот это самое письмо и было поручено отправить Славику, который похвастался, что у его отца в столе полно почтовых марок. А на другой день Славик соврал, что бросил письмо в почтовый ящик. И мы полгода напрасно ждали. Мы ждали Хрущева до самого Нового года, но он все не ехал, и тогда Славик признался, что отец отобрал у него письмо и порвал его. Мы объявили Славику за это бойкот на две недели и понизили в звании, и мне было очень тяжело, когда Славик приходил ко мне во двор и жалобно смотрел на меня, а мне нельзя было с ним разговаривать. Я ему объяснял, что он остается моим лучшим другом до самого гроба, но закон есть закон, и пока бойкот не кончится, ни играть с ним, ни разговаривать я не имею права. Тогда он сел на одну лавочку моего крыльца и листал книжку с картинками, а я – на другую, напротив него, и молча листал другую книжку. Иногда мы показывали друг другу смешные картинки из наших книжек, но – все молча! Бойкот был отменен одиннадцатого января, когда Славик пригласил нас всех на свой день рождения. Мы, конечно, все явились, потому что у Славика были очень необычные дни рождения. Когда гости расходились по домам, каждому гостю родители Славика вручали по кульку со сладостями. Откуда взялась такая традиция, даже мои родители сказать не могли. Может быть, из Польши? Пра-пра-прадедущка Славика был поляком. Но это была очень приятная традиция, и явка на Славиковы дни рождения была всегда выше стопроцентной. Кто-нибудь мог и сестру притащить с собой или младшего братика, который крошил печенье под стол и все время хотел писать. Ясное дело, что ко дню рождения мы Славика простили. Мы его не просто простили, а даже ре-а-били-тировали (ну и словечко!). Это слово принес Юрик Офицеров, у которого при Сталине дед тоже был врагом народа, но после войны наш Хрущев его ре-а-били-

тировал. Это намного лучше, объяснил нам Юрик, чем просто выпустить из тюрьмы: это значит выпустить из тюрьмы с большим почетом!

На это побочный внук Витенька похвастался, что его тоже, когда он вырастет, обязательно с большим почетом реа-били-тируют, и даже много раз подряд! И еще он хотел знать когда Хрущев подарит ему, наконец, велосипед: он ведь тоже протокол писал вместе со всеми. До Витеньки всегда все доходило в последнюю очередь.

Нет, не получил Витенька велосипеда от доброго дедушки Хрущева. И от следующего доброго дедушки тоже не получил. А потом и вовсе не до велосипедов и даже не до самолетов стало в стране: кто-то стибрил у нас коммунизм, и народ, развесив уши и роняя штаны, погнался за перестройкой, ускорением и гласностью. И мчится по сей день, теперь уже не зная куда...

Клад

Взрослые рассказывали, что когда-то все пространство «Бедного поселка» занимал поповский сад, а попы, как известно, любят закапывать клады. Счталось поэтому, что вероятность вырыть поповский клад на наших огородах была вполне реальна. Рекомендовалось почему-то искать клад под грушами. Якобы именно там служители церкви с наибольшим удовольствием прятали церковное серебро от большевиков. После поиска золотых зубов я очень долго плевался от слова «клад», но вот, будучи уже в шестом классе, подпал-таки снова под «золотую лихорадку», охватившую весь поселок. Эта "эльдорада" разразилась после того, как на участке то ли Киловчуков, то ли Зайцевых – теперь уже точно не помню –, когда копалась траншея под водопровод, действительно был обнаружен клад: облитый смолой дубовый бочонок, полный царских ассигнаций. Никому, никаким музеям эти столетней давности сине-желто-лиловые бумажные полотна, большие как носовые платки, нужны не были, и разошлись они по всему поселку в качестве совместного сувенирного привета от царя Александра-Третьего и того безвестного придурка, который их в саду закопал. Спекулянт ли это был тогдашний, бабка ли самогонщица, или церковный чин себе на загробную жизнь откладывал – это осталось неизвестным, так как кладовщик записки не оставил. Лучше бы он, дурак, на них корову себе купил, или казацкую шашку, или булатный кинжал, или морской кортик, или пулемет «Максим» с водяным

охлаждением. Короче, пользы от тех царских денег кокинскому, советскому, послереволюционному народу не было никакой, однако кладоискательское возбуждение эти ассигнации породили. Почему-то считалось, что там, где лежит один клад, там должны быть и другие, с золотыми монетами и графскими бриллиантами. "Должны, должны быть бриллианты,- негромко рассуждали битые жизнью старики,- не могли большевики все под метелку выгрести. А прятали многие, потому что богатых было полно и прятать у них было чего. Тут и гадать нечего: каждый ребенок пошел бы и закопал свои строительные кубики, если бы знал, что их отберут большевики – так чего уж тут говорить о золоте и бриллиантах!"

Стесняясь друг друга, огородные соседи, в том числе преподаватели техникума, принялись вскапывать свои огороды посреди лета на нестандартную, метровую глубину. Якобы, глубокую вскопку рекомендовал сам великий Мичурин. И, надо сказать, кое-что по методу Мичурина таки попадалось кладоискателям. Например, были найдены: зеленый самовар без краника, чугунный утюг на угольном приводе, один хромовый сапог с кротом внутри, георгиевский крест, а также ржавое ружье и железная банка с закаменевшим в ней сапожным кремом (поразительно: неужели и такой хлам отбирали у попов большевики, отчего те вынуждены были его прятать?). Из находок, наиболее близких к статусу клада, можно было считать полусгнивший дубовый гроб, содержащий двуручную пилу без ручек, гнилое верховое седло со стремянами, топориче, отдельно от него топор, а также четырехгранную банку синего стекла. Все вещи были разные по степени истления. Отсюда можно было сделать вывод, что гробом пользовались длительное время, добавляя в него артефакты по мере их утилизации. Парторг техникума, преподававший по-совместительству историю и чувствующий поэтому свою историческую ответственность с особенной остротой, немедленно позвонил куда следует. Из города приехали чекисты и забрали гроб себе. Кому он принадлежал, мы так и не узнали. Но то, что гроб подстегнул кладоискателей "бедного поселка" – это факт. Однако, шли годы, но золотые монеты так никому и не попались, и ни одной шкатулки с бриллиантами вырыто тоже не было. Однако, энтузиазма кладоискателей это обстоятельство не снижало, как раз наоборот: бытовало математически обоснованное мнение, что по мере того, как невскопанных участков остается все меньше, вероятность обнаружения клада

лишь увеличивается. И уж коли подобное безумное кладокопательство охватило седовласых преподавателей, в том числе членов партии, то поветрие это не обошло и нас, обыкновенных пионеров. Я тоже взялся за лопату. Тем более, что определенный опыт кладокопательства у меня уже был, как мы помним.

Делая вид, что собираюсь построить на огороде новый выгребной туалет-уборную, я стал копать под грушей, как и положено. И вот, на глубине пятидесяти шести сантиметров лопата моя скрежетнула о металл. Есть! Есть клад! Я быстро оглянулся по сторонам: не наблюдают ли за мной? Нет, наблюдателей не было. Несколько спин маячило тут и там, но до меня дела никому не было. Отлично! Я приступил к обкапыванию клада, чтобы установить его размеры и оценить необходимые мощности для его подъема. Клад оказался невелик (что ж, тем вероятней, что он содержит бриллианты!), и имел, судя по всему, округлую форму. Железный сундучок? Или это лопата моя о железные обручи бочонка скрипнула? Чтобы не рисковать кладом и не проткнуть случайно его изъеденную временем оболочку своим грубым шанцевым инструментом, я отложил лопату в сторону и принялся копать дальше своими нежными передними конечностями, как роют таксы или археологи. Взрыхленный грунт вокруг наметившегося бугорка, хранящего клад, поддавался пальцам и ладоням достаточно легко. Сам я, по-пластунски слившийся с земным шаром, был незаметен со стороны – разве что мой торчащий над глиной, худой, полуоголенный зад мог бы вызвать некоторое любопытство при взгляде из космоса. Но спутники в то время были ещё считанные, так что пялиться на мой зад из пустынного космоса было некому. Разве что рыжие фонтанчики глины, взлетающие над моей ямой, могли привлечь внимание соседей. Однако, как уже установлено было ранее – сторонних наблюдателей не имелось. Над редкими соседскими спинами взлетали их собственные фонтанчики, поскольку каждый был сосредоточен на собственном проекте.

Постепенно, вкрадчивыми археологическими движениями я приближался к выявлению окончательной геометрии сокровенного сосуда. Уже можно было видеть, что это – круглый предмет сантиметров тридцати в диаметре и около десяти сантиметров толщиной. Когда окончательно обнажился весь ржавый периметр изделия, смутное подозрение заставило меня копать осторожней,

одними лишь кончиками пальцев и остатками ногтей. Я стал соскребывать глину с предмета, и скоро пальцы мои зацепились еще за один выступ по центру цилиндра. Горловина сосуда, что ли? Еще через пару минут, когда и эта геометрия проявилась достаточно четко, меня прошибло ледяным потом: да это же мина!.. Да, это была большая, противотанковая мина! Никаких сомнений не оставалось, это была именно она: железный толстый блин с выступом по центру – стопроцентная мина, затаившаяся тут, на моем огороде, и лет двадцать подстерегающая вражеские танки, или меня, дурака. Дождалась, красавица... вот он я, танк твой долгожданный... Я дал всем своим мышечным тканям отчаянную команду «полный назад», да не тут-то было. Центр тяжести моего тела уже принадлежал яме, и руки мои, вместо того, чтобы отжать меня вверх, лишь все глубже утопали в ими же взрыхленной почве. Не было ничего твердого, чтобы отжаться... кроме мины. В довершение ко всему, стенки ямы быстро становились мокрыми и скользкими от выделяемого моим телом панического пота, который начинался в области пяток, тек вниз по хребту и интенсивно капал с носа и ушей на мину и рядом, на мокрую глину, лишь усугубляя эффект засасывающей трясины. В результате мой глупый, твердый лоб медленно и верно приближался к шляпке взрывателя. А я даже крикнуть боялся, понимая, что в этой ситуации детонационная энергия моего вопля не будет уступать ударной мощности лба...

Я выбрался, но как – не знаю. Когда, не найдя решения, центральная нервная система зашкалила, выручила периферийная. Коленки, не дождавшись команды от высшего координирующего органа, перешли на ручное, первобытное управление. Возможно, они вспомнили те доисторические времена, когда мои предки были крабами, жили в море и умели передвигаться в любую сторону с равной скоростью. А, может быть, они вспомнили более свежее событие десятилетней давности, когда встреченная нами на дороге знакомая тетка запричитала, разглядывая меня и жалея маму: «Ой-ёй-ёй, какой он у вас худенький, какие у него коленочки-то остренькие! Может, у него глисты? Вы бы ему чесночной водички почаще давали...». Мозг мой напрочь успел забыть тот оскорбительный эпизод из раннего детства, а кости, стало быть, запомнили информацию про острые коленочки, и теперь эти самые уродливые, острые коленочки сослужили мне неоценимую службу. Они за что-то там яростно зацепились снаружи – за щепки ли, корни трав, камни, рельеф

местности или за все сразу и, превратив мои ноги в шатуны заднего хода с шестью степенями свободы, выволокли мою мокрую, скользкую тушку из ямы. Как это могло произойти с точки зрения законов механики – ума не приложу! Много раз потом ради установления научной истины пытался я повторить этот способ движения, но так и не получилось у меня ползти задом наперед, лежа на животе и цепляясь за землю одними коленками. Уже будучи взрослым человеком, я несколько раз спрашивал знакомых десантников, умеют ли они так ползать, но и они так не умели. В общем, произошло чудо, и я выбрался из ямы. Но это был далеко еще не конец истории, это было почти еще только начало ее. С миной надо было что-то делать – не назад же ее закапывать? Почему-то родителей моих в тот день не было дома – наверное, они уезжали в город за покупками или к родственникам, делить бабушку (наша бабушка пенсии не имела и жила у своих двух дочерей и одной внучки по-очереди, по кругу, но иногда круговое расписание сбивалось, и тогда три семьи собирались на «курултай», как шутил наш дядя Володя, чтобы решить кому сбегать бабушку). Поскольку родителей не было, то я побежал искать преподавателя физкультуры Николая Петровича Тягунова. Тот работал на войне танкистом, наверняка сам наезжал частенько на всякие мины и гранаты, и должен был, в моем представлении, знать о противотанковых минах все. Я сделал три круга по Кокино и в конце концов нашел Николая Петровича на стадионе, где он проводил урок гимнастики с группой студенток.

Когда я выбежал из-за клуба, Николай Петрович как раз ставил студенток в позу «ласточка», ходил между ними и задирали им повыше руки и ноги, чтобы они были похожи на стремительных птиц. Толстые девушки при этом теряли равновесие и падали, худые смеялись, а сам Николай Петрович суетился между ними: «Напружиньте тело, напружиньтесь, нога должна быть напружиненной...». Заметив меня уже издали, он закричал мне: «Мальчик, не мешай работать!». Я остановился, подобрал полкирпича, подбросил повыше, и когда кирпич со звоном упал на пустую бутылку в кустах, я крикнул Николаю Петровичу: «Ба-бах!». Но физкультурник намека не понял, урока не прервал и снова закричал мне то же самое: «Мальчик, не мешай!». Тогда, отбросив всякую дипломатию, я решительно пошагал на середину футбольного поля, где студентки, покачиваясь, все еще стояли в позе «ласточка», и подойдя к опешившему от моей наглости Николаю Петровичу вплотную, доложил ему

четким, военным голосом: «Николай Петрович, у меня на огороде имеется нераззорвавшаяся противотанковая бомба. Я ее только что нашел. Она может в любой момент жахнуть. Что делать?».

Николай Петрович, позабыв про своих «ласточек» и даже не дав им команды «вольно», тут же помчался вслед за мной. Когда мы прибежали к нам, то Николай Петрович приказал мне оставаться возле дома, а сам стал перебежками подбираться к яме, делая сложные зигзаги. Сразу видно было, что он – опытный разведчик. Я видел, как Николай Петрович напряженно, на напружиненных, спортивных ногах крадется к моей яме (нашей бы кошке Мурке поучиться так ходить на мышей!), как осторожно заглядывает в нее и как задним ходом, вприсядку, медленно возвращается. Он никогда не помнил нас, ребят, по имени, поэтому звал всех «мальчик» или «девочка».

– Мальчик, – сказал он мне, – это действительно противотанковая мина. Ты стой здесь и не сходи с места, а я побегу в клуб, позвоню в Брянск и вызову саперов. Не вздумай туда идти, мальчик, к яме, и не вздумай туда кого-нибудь пускать. Это смертельно опасно. Я тебе даю команду: Равняйся! Смирна! Так и стой, пока я не вернусь...– и Николай Петрович убежал звонить.

Потом мы с ним дежурили у угла моего дома вдвоём, и каждому идущему мимо по улице, Николай Петрович кричал:

– Проходите, проходите, не задерживайтесь, здесь очень опасно!

В результате через час, когда примчался зеленый «Козлик» с офицером и тремя солдатами, двор наш уже был полон возбужденного народа.

Прежде чем оцепить местность и эвакуировать жителей, офицер пошел посмотреть на мину. Храбрость советских военных не знает предела: этот офицер – кажется, капитан, имени которого я так никогда и не узнал, шел к опасности, даже не пригибаясь, и лишь у самой ямы замедлил шаг и заглянул в нее осторожно. После чего почесал затылок, опустился перед ямой на колени, снял с головы и отложил в сторону фуражку, и... нагнулся над миной, шевеля плечами. Я зажал уши. Николай Петрович рядом со мной причитал: «Что он делает! Что он делает! Нужно срочно эвакуировать людей! Солдаты! Что он делает?». Но солдаты, приехавшие с офицером, равнодушно смотрели по сторонам. Им было все до фонаря – взорвется сейчас их офицер или не взорвется, долетят до них его шмотья или не долетят...

Не успел Николай Петрович в десятый раз спросить у окружающих: «Что он делает?», как офицер распрямился, подобрал и надел фуражку, поднялся на ноги, повернулся и двинулся в нашу сторону, отряхивая руки. Он прошел мимо нас, коротко скомандовал солдатам «В машину!», и лишь перед тем, как захлопнуть дверцу проговорил, ни к кому конкретно не обращаясь:

– Обезвредил!

Мне показалось, что он слегка ухмыльнулся при этом, но, возможно, мне это лишь почудилось, потому что военный «козлик» уже дал задний ход с моего двора, и храбрый офицер исчез за бликами стекла. Он не был слишком разговорчивым, тот офицер.

После отбытия саперов старшим по званию снова оказался Николай Петрович, и он, велев нам всем оставаться на местах, отправился к яме проверять работу сапера. На всякий случай он все еще крался осторожно и все еще шел к яме зигзагом. Видно, это был у него условный рефлекс на мины, открытый академиком Павловым на примере собак (мы как раз проходили недавно в школе). Мы провожали бывшего танкиста взглядами, не дыша. Вот Николай Петрович подходит к яме, вот он вытягивает шею, вот заглядывает в яму... и вот он... выпрямляется во весь рост и радостно смеется! Значит, мина действительно обезврежена! Но ведь это же моя мина! Я имею преимущественное право ее увидеть, поверженную благодаря мне! И я бегу. За мной бегут остальные. Я подбегаю к яме и заглядываю в нее. И ничего не понимаю. Где мина? На дне ямы валяются две ржавые консервные банки: одна большая, из-под селедки, другая маленькая – типа как от бычков в томате, над которыми так часто смеется Аркадий Райкин, называя их «мировым закусоном».

– А где мина? – спрашиваю я Николая Петровича в недоумении. Но он сгибается пополам, он не может говорить, он машет на меня рукой: мол, не надо, не надо, не смейся, не могу больше...

Теперь уже смеются все вокруг меня. Чтобы не выглядеть самым тупым среди прочих, я начинаю смеяться тоже, хотя не сразу понимаю отчего все хохочут. Потом до меня доходит, что не было никакой мины! Просто это две банки так лежали, одна на другой, слепившись, прикинувшись вдвоем одной противотанковой миной. И тогда я начинаю хохотать уже во все горло, и это

очень даже мудро с моей стороны, потому что исчезает впечатление, будто все потешаются надо мной. Нет-нет, теперь мы все вместе дружно смеемся над этим ужасно смешным происшествием...

Кто-то толкнул меня в спину, и я свалился в яму, к «mine». Я обиженно дернулся и обернулся. Но это был не враг, желающий моего унижения – это был мой сосед Владик, улыбающийся шире собственной рожи.

– Слава саперам! – говорит он мне и тут же рассказывает толпе анекдот своим медленным, заторможенным голосом: «Идут учения. Падают десантник. Навстречу ему летит Гарька Шенфельд. Десантник кричит: «Гарька, где мне тут дергать, я забыл...». А Гарька отвечает: «Не знаю, земля, я не десантник, я сапер, мину вот у себя на огороде обезвреживал...».

– А десантник тот был Владик Кокин! – огрызаюсь я мстительно. Хохот усиливается. Владик норовит дать мне подзатыльника. И ни один человек – ни один! – не спрашивает меня, а чего я тут вообще рылся, под грушею?...

Возможно, эпизод с «противотанковой миной» не имеет настолько большого исторического значения, чтобы тратить на него драгоценные страницы этого повествования. Особенно в наше-то время, когда бомбами никого не удивишь, когда бомбы взрываются повсюду. Однако, усмотрел я все-таки в той истории нечто педагогическое, некое воспитывающее начало. Педагогический эффект ее, как мне представляется, состоит в таком вот нравовании: не стремитесь к благам, достаемым на «халяву». Жить нужно только и исключительно собственным честным трудом. Истина эта проста как тазик, но самоочевидность её вовсе не умаляет ее вечной ценности. Или, более простыми словами:

Не ищите кладов, люди добрые! Один из миллиона может быть и выроет когда-нибудь что-нибудь для себя пригодное. Остальные же либо подорвутся на mine, либо проткнут силовой кабель, либо врежутся в отопительную, водопроводную, газовую или канализационную магистраль, либо, при наличии титановой лопаты доберутся-таки до центра земли, чтобы сгореть там в геенне огненной.

«Истинно говорю вам: не ищите кладов чужих под землей, но создавайте их своими руками на земле своей! И это будет хорошо!». Не знаю, есть ли такие слова в Библии, но звучат они вполне евангелично.

Юрий Гагарин

Чудо встречи с Юрием Гагариным произошло так. Я уже учился в городе, там я заканчивал среднюю школу по воле моих родителей, пожелавших, чтобы я в дополнение к немецкому знал ещё и английский язык, который в кокинской школе не преподавался. Я не хотел покидать Кокино, но время неумолимо выталкивало меня в самостоятельную жизнь, первой ступенькой которой явился город Брянск.

Я учился в девятом классе средней школы №16 города Брянска, когда брянщину посетил Юрий Гагарин – кумир всего человечества и мой почти что земляк, смолянин. Для всех нас Юрий Гагарин был не совсем человеком. То есть, разумеется, был он человеком и даже лучшим из людей. Но вместе с тем был он и высшим символом нашей страны и знаком качества Советского Союза, являясь при этом легендой, сказочным богатырем, героем могучим и прекрасным, чистым и светлым, как само то будущее, к которому мы все неумолимо приближались. Гагарин был Солнцем! Поэтому сообщение о приезде Гагарина в Брянск хотя и было нами, школьниками, воспринято на тихо-восторженном выдохе «Ух ты!», но в сознании не отразилось как что-то личное, нас непосредственно касающееся. Это было примерно так, как если бы нам сообщили, что завтра солнце будет светить только для Брянска. Здорово, конечно, и почетно очень, но только что из того: троечникам все оценки на пятерки переправят, что ли, а отличников в Артек пошлют – в лагерь для обкомовских детей? Или домашние задания перестанут задавать? Или школу распустят? Нет, не распустят. Разве что последним уроком пройдут везде классные часы на тему: «Мы – первые!» с портретом Гагарина на классной доске.

И действительно, нас всех строго предупредили: не вздумайте прогуливать завтра, потому что город будет перекрыт. Гагарина провезут на митинг на завод БМЗ (Брянский Машиностроительный Завод) по центральной улице, где его будут приветствовать флажками специально приглашенные для этого почетные представители народа, а нелегальных приветствующих будут отлавливать и отводить в милицию, а их родителей – штрафовать. Наш заднепартовец Витька Степанов стал смеяться при этом, сползая под стол, и объяснил всем остальным любителям юмора, что дед его второй день драит мундир с орденами – собирается идти на улицу Куйбышева, чтобы махать

оттуда Гагарину костылями, но только никто его туда не приглашал, а значит он будет беспризорный, а следовательно его родителей придут штрафовать, а его родители – прадеды Степановы – уже лет пятьдесят как на кладбище лежат. Ну и кого тогда штрафовать будут, спрашивается? Классная напомнила Степке, что он записной школьный придурок и велела ему заткнуться и успокоиться, но Степка продолжал смеяться от своей идеи до конца урока и на всех последующих уроках – тоже.

Таким образом, следующий день оказался для всех школ Бежицкого района города Брянска днем обязательной явки на уроки, под угрозой снижения оценки за поведение в случае отсутствия «железной» справки о причине отсутствия. Но этот день оказался четвергом, а по четвергам у нашего класса «Б» как раз был день производственной практики на том самом заводе БМЗ (я лично, например, приобрел там квалификацию слесаря и изготовил маленькие плоскогубцы, которыми пользуюсь до сих пор для вытаскивания мелких гвоздей из стен и крупных заноз из пальцев). Но поскольку в связи с приездом Гагарина школьников на завод распорядились в тот день не пускать, то для нашего класса получался стихийный выходной день. Возникает вопрос-загадка: что делает кокинский житель, находящийся вдали от родины, если выпадает свободный день? Долго гадать не надо: он устремляется в Кокино! Вот и я утром 26-го мая 1966 года отправился на троллейбусную остановку "Петровская" на улице Ульянова, чтобы уехать оттуда на центральный автовокзал, отбыть в Кокино и погрузиться там до вечера в тень родных липовых аллей, или побегать с мячом по стадиону, или доехать на велосипеде до Десны, или сотворить еще что-нибудь интересное со старыми друзьями-товарищами. И вот я стоял на совершенно пустой остановке и начинал постепенно злиться, недоумевая, почему так долго нет троллейбуса. Я не сразу сообразил, что на эти два утренних часа все троллейбусы по городу были отменены в связи с проездом гагаринского кортежа, да и маршрута этого кортежа я, разумеется, не знал. Откуда я мог его знать? – с нами, школьниками, его в обкоме партии не согласовывали. Полное отсутствие людей вокруг меня, правда, не удивляло. Я понимал, что весь доблестный Бежицкий район собрался сейчас на центральной улице и на заводской площади, чтобы приветствовать великого героя страны и всего космоса Юрия Гагарина. Мне стало вдруг очень обидно, что нас, школьников, не пустили на встречу с

Гагариным. Официальное объяснение было такое: чтобы детей в толпе не подавили. Детей, как же! Это девяти-то и десятиклассников! Среди нас, «детей» имелся, между прочим, один кадр по прозвищу «Аксель» ростом метр-девятью три и массой сто два килограмма. Подавят нас! Да если мы навалимся дружно, то сами кого хочешь подавим!..

Меня почти уже осенило о причине отсутствия троллейбуса, когда где-то вдали, в самом начале улицы Ульянова, за поворотом, послышался нетипичный для Брянска рокот, и из-за поворота выкатилась хромированная стая мотоциклистов. Сегодня никто и головы бы не повернул: эка невидаль – рокеры! Бандидосы! Навоняют синим дымом и промчатся мимо. Хорошо, если очередь из автомата не пустят по сторонам. Но в те времена целая куча хромированных мотоциклистов, катящаяся единой сворой во всю ширь дороги, была большой диковинкой. А парадного слова «кортеж» в провинциальном городе Брянске вообще никто не знал. Поэтому не удивительно, что я разинул рот – любой другой на моем месте разинул бы его еще шире! Мотоциклы неслись на фарах, попарно, и их колонна все никак не заканчивалась. Чудеса да и только! Я выбрался из-под навеса остановки на самый край проезжей части, чтобы лучше видеть этот катящийся на меня вал хрома и грома, как вдруг... нет, дальше нужно говорить медленно, потому что если рассказывать так же быстро, как все произошло, то получится невразумительная скороговорка. Поэтому рассказываю медленно: вслед за колонной мотоциклистов ехал большой, черный, открытый лимузин, кажется, «Чайка», или «ЗИЛ-111», и в нем, рядом с водителем... Стоял! И это не был сон! Во весь рост! Стоял! Он! Он сам! Настоящий! Живой Юрий Гагарин! Юрий Алексеевич Гагарин! Он смотрел прямо перед собой с легкой улыбкой здорового, сильного и доброго человека. Просто так улыбался: солнцу, дороге, земле, ветру, себе самому... И тут он увидел на краю дороги растерянного, растрепанного пацана с распахнутым ртом и выпученными глазами. Меня, то есть. Возможно, что сквозь рев мотоциклетных моторов он услышал даже нечеловеческий восторженный вопль «Гага-а-а-а-а!!!», который рвался из меня сам по себе, помимо моей воли. Это был крик величайшего счастья! Это был крик высшего триумфа! Гагарин! Это же настоящий Гагарин! В тот миг я ничего не осознавал, кроме того только, что вижу своими глазами живого Юрия Гагарина!... В тридцати... в пяти... в трех метрах!... И тут произошло еще одно чудо. Гагарин

повернулся в мою сторону, держась левой рукой за раму ветрового стекла правительственного лимузина и по-военному четко приложил руку к козырьку форменной фуражки. При этом – я видел это как в остановившемся кадре – Юрий Гагарин улыбался своей фантастической белозубой улыбкой. Мне улыбался! Мне одному! И вот так, широко улыбаясь, он отдавал мне честь полторы или даже две секунды - пока проносился мимо. Мне, мне, мне одному! Ведь никого, никого не было больше на остановке! Через несколько мгновений лимузин унес величайшего на все оставшиеся времена героя планеты Земля в сторону завода. Рокот кортежа затихал вдали... Я очнулся метрах в ста от остановки. Оказывается, не помня себя, я бежал за машинами, за мотоциклистами, замыкающими кортеж. А придя в себя, кинулся домой, то есть к родственникам, у которых я жил, чтобы рассказать им.... Потом, на полпути к дому вспомнил, что на остановке остался мой школьный портфель. Я побежал обратно. Портфель валялся на дорожном асфальте – там где выпал из моей руки. Я пнул его ногой, и он подпрыгнул. Я спросил его: «Ну, ты видел все это, букварян драный, черт пифагорный?». Пифагорный черт перекувыркнулся через себя, подтверждая: «Да, видел!». После чего, в доказательство своего бессловесного восторга, он взлетел вертикально вверх над деревьями, сделал несколько радостных кульбитов в воздухе, упал на крышу остановки, совершил пару высоко художественных оборотов и спрыгнул на землю, к моим ногам, совершенно растрепанный и счастливый: ведь это и ему отдавал честь Юрий Гагарин! Я швырнул портфель на скамейку и еще раз посмотрел вдоль пустой дороги – в ту сторону, куда увезли моего Гагарина. После этого со мной, здоровым лбом, девятиклассником, случилось неожиданное. Я опустился на лавку, уткнулся в свой портфель и от избытка чувств зарыдал: внезапный, высоковольтный удар счастья оказался слишком велик для моей юной психики и требовал разрядки. Хорошо, что никто не видел меня в тот момент; хорошо, что остановка была пуста, хорошо, что все были на заводе, хорошо что весь город был пуст...

Наверное, то чудесное мгновение поставило очень важную точку в моем противоречивом, нетерпеливом, категоричном и одновременно мятущемся отношении к воспитывающей меня стране Советов. К стране, которая была так жестока к моим родителям, к моему малому, немецкому, российскому народу.

Одной своей улыбкой и рукой, приложенной к козырьку фуражки, Юрий Алексеевич Гагарин успел сказать мне, что мы с ним – одной крови, одного племени. А остальное – режимы, деспоты, идеологи, крикуны-пропагандисты и просто гиперактивные, политизированные дураки – это все преходящее, это все ненастоящее. А настоящее – это наша Родина, которая у нас с ним одна, и другой уже не будет. Он сказал мне это своей лучезарной улыбкой, и эта гагаринская улыбка, в сущности, за несколько секунд завершила мое патриотическое воспитание. Я в этом уверен.

Рыжий конь

Мы росли не только на кокинском Бедном поселке, на «полянке» и на стадионе, но еще и на реке – на самой красивой реке в мире, имя которой – Десна. Почти у каждого человека есть своя река, которую он считает, как свою мать, лучшей на земле, и вот по этому закону природы Десна – самая красивая река для меня. Тем более, что у меня было к ней особенное отношение. Поскольку Десну не нужно было ни с кем делить, то я считал ее своей. «Полянку» я делил с ребятами «Бедного поселка», стадион – со студентами и деревенскими пацанами, поля и леса были общими, государственными, луга - колхозными. А на реке мы были с папой почти всегда одни, вдвоем, и она принадлежала нам, разговаривала, казалось, только с нами, секреты свои показывала только нам, и отношения с ней складывались у нас душевные, доверительные, как с живым существом. Река была моим хорошим другом, так я ее воспринимал. И всякий раз, когда я подходил к ней, то мне казалось, что и она радуется моему появлению: приветствуя меня, кувыркнется у берега и хлопнет хвостом рыбина, закричат птицы в кустах, сообщая друг другу о моем появлении, молоденькая береговушка, узнав меня, промчится близко, на расстоянии протянутой ладони и взойдется в небо, чтобы сделать несколько кругов надо мною, кувыркнуться в воздухе и как будто похвастаться: вот, мол, смотри как я научилась за лето! А то и кузнечик сиганет вдоль берега, указывая место, где сегодня особенно хорошо должно клевать...

Я уже точно не помню, когда начал ходить с отцом на Десну. И как это повелось – тоже не знаю, но припоминаю лишь, как в возрасте лет пяти просыпался частенько в четыре часа утра, еще затемно, от папиного шепота: «Ну что, пойдешь?». Я резво вскакивал и, окончательно просыпаясь уже по

дороге, старательно топал рядом с отцом три километра до реки, неся собственную удочку на плече и щебеча обо всем на свете, как птичка.

Сколько раз пробирались мы сквозь холодные от росы и мокрые, как сам дождь, луга, чтобы успеть к реке раньше солнца. Но иногда светило оказывалось быстрее нас и уже поднималось розовым шаром над пуховым одеялом лежащего на травах тумана. Тогда возникала совершенно фантастическая картина. Мой папа плыл навстречу солнцу по пояс в белой пене, а от меня над облаками торчала одна лишь голова, и если присесть, то я исчезал из вида совсем, поэтому папа приказывал мне не баловаться, не прятаться, не исчезать. Не было ничего больше в мире – только белое, пухлое море вокруг нас и розовое солнце впереди. А потом, разом, белопенное одеяло тумана выпускало дымчатые космы, похожие на языки розового пламени, которые устремлялись вверх и утягивали вслед за собой туман. На какое-то время все погружалось в напоенные перламутровым светом, сказочные, прозрачные сумерки. По этим светлым сумеркам мы успевали дошагать до реки, и здесь туман исчезал вдруг, как будто сдернутый ввысь невидимой рукой, и в глаза нам смеялось уже не розовое, но настоящее, золотое и жаркое солнце, словно говоря: «А день-то уже настал, рыбачки! А вы-то опоздали!». Но как можно опоздать к празднику рождения дня? Да ничего мы не опоздали! К предутреннему клеву – может быть. А все остальное только начиналось. Стрижи разминались в небе, птицы в кустах выводили виртуозные коленца на разные голоса, вроде бы не очень складные поначалу, как настройка скрипок перед концертом, но в какой-то неуловимый миг сливавшиеся в единый и неопиcуемый по красоте хор, в неповторимую симфонию, в оду жизни и солнцу. И если присмотреться, то всяк жучок, всяк муравейчик вокруг уже вовсю был занят: тащил, толкал чего-то, торопился куда-то по неотложным делам своим, суетился с мелкой, но важной целеустремленностью, непостижимой для человечества. Вот кузнечик на махровом, еще влажном шарике клевера растирает себе бока. Музыка у него пока не получается – отсырел за ночь, но погодите, погодите, сейчас, сейчас... Вот выдра плюхнулась под берегом, скользит с мальком в зубах над мелью в сторону свисающих над водой кустов, детям завтрак тащит... Вот бабахнуло в середине реки. Там сом попрощался со всеми и отправился спать под корягу, а

может, это щука на охоту вышла, себя обозначила: «Я тут! Кто не спрятался – я не виновата!...».

Десна! Слепит вода, качает солнечный свет, переливает его туда-сюда, закручивает косичками, потом ни с того, ни с сего разметет струи эти калейдоскопными искрами и снова соединяет их в сплошной огонь, бегущий по течению: все бегущий, и бегущий, и бегущий, и никуда не убегающий... Я умываюсь этим прохладным, ярким огнем из реки, и он чистым золотом течет по моему лицу и по моим рукам и падает обратно в Десну, чтобы снова превратиться в воду и тут же снова переплавиться в золотой огонь, и я умываюсь им снова и снова, и вижу сквозь тысячу радуг на ресницах, как на противоположный берег, на песчаную косу выходит рыжий конь, заходит по колено в воду и пьет. Он не достает до того золота, которым умываюсь я, и пьет поэтому темную воду вместе с отраженным в ней, перевернутым вверх ногами берегом и свисающими в небо ивами. Лохматый конь пьет долго, как мужик с похмелья, и вся эта выпитая им природа исчезает в нем, но никак не убывает вокруг. Она здесь, она огромна и безгранична, она вне времени. И я не могу насмотреться на нее и навспоминаться тоже никак не могу: все пью, и пью, и пью из реки воспоминаний, и никак не могу напиться, как не мог напиться всласть деснянской воды тот рыжий конь на берегу.

Озерный черт

В отличие от великой русской реки Волги, вблизи которой родился мой отец, Десна не течет издалека и долго, но начинается в соседней, Смоленской области и бежит к нам на брянщину широкими лугами, вольно петляя по привольному руслу между сосновыми борами левобережья и крутыми желтыми берегами с западной стороны. Десна кружится среди лугов, оставляя после себя уютные старицы, озера с кувшинками, поющие лягушками болотины, и рисуя в луговой, ивами поросшей пойме причудливые узоры с песчаными отмелями и глубокими затонами, с золотыми косами, врезанными в проворное течение и с кудрявыми дубравами на обрывистых кручах. Травы заливают безбрежную пойму, и луга обрастают янтарными стогами в сенокосную пору. Комар звенит над рекой, стремительные ласточки-береговушки прочерчивают небо и кувыркаются в солнечном свете, стрекозы висят над водой и дразнят рыб, пичужное многоголосье, жужжанье ос, сухой стрекот перегретых

кузнечиков в отрастающей щетине покосов, всплески крупной рыбы, монотонные кукушкины подсчеты в стороне леса, вечерний перепел со своим «спать пора!», «спать пора!»... До чего хорошо!

Десна не широка в наших краях – в иных местах камень, пущенный сильной рукой, долетает почти до противоположного берега, и если хорошо знать все изгибы отмелей, то в июле можно кое-где перейти реку вброд. Но тут же, рядом с бродом, если сигануть с крутого берега, то можно и дна не достать. Известно давно, что в таких местах живет водяной, или речной черт: воду крутит в омуте, течение под берегом в другую сторону заворачивает, но дальше, на середину реки соваться боится, и речка там снова мчится, как ей положено, перекатываясь сама через себя, закручивая и перекручивая светлые струи, в которых, играя серебром, носятся стремительные чехони, до того быстрые, что упругие жерехи, неспособные их поймать, лишь в досаде бьют хвостами по отмелям... А рыжая бабочка села на кончик удилица и делает зарядку крыльями: ать- два, ать-два..., и самолетный след тает в небе, а звука не слышно: его заглушают кузнечики своим стрекочущим хором. Это летом.

А зимой иное, свое очарованье: висит над миром ослепительно-белая, оглушающая тишина, накрытая сверху густой, сияющей синевой небесного купола, и искрится миллиардами бриллиантов, рассыпанных щедрой рукой Создателя от одного края земли до другого. Белый простор до синего леса, белый простор до белых холмов, белый простор до северного горизонта и до южного тоже. Простор, вдоль и поперек исписанный деловыми письмами птиц и зверей друг другу: мелкими строчками и крупными многоточиями, почерками изящными и небрежными, но и вальяжными тоже – самыми разными. Только самих писателей не видать, они в лесу попрятались до ночи. Красок совсем не много в этом белом безмолвии, их заменяет игра света, рисующего с помощью прозрачных, чистых, голубых теней мягкие рельефы от леса и до горизонта. Но самое главное – ты один во Вселенной: ты, сверкающий вокруг зимний космос и бодрый, сухой скрип снега под валенками – и больше ничего и никого... хотя нет: вон еще один такой же одинокий вселенец скрючился за кустами, сжался над лункой, сторожит... а, может, заснул и замерз уже?... да нет, шевелится, взмахнул рукой – не иначе, окушка подцепил на мормышку.

Хорошо на зимней реке вольному глазу, но особенно хорошо сердцу и легким, да и всему телу: кровь пузырится от набранного кислорода и щекотит в

жилах, и взлетел бы от телесной невесомости вместе с полушубком, да валенки не пускают, и рыбацкий ящик на коротких лыжах, груженный мелкой снастью и тяжелым ледобуром. Пашет деловитый ящик снежную целину, тормозит движение и все ноет, всё повизгивает сзади – на отдых просится, пристать в любом укромном затончике и начать уже ловить: ну сколько можно ещё топтать, место искать? Ящик знает по мудрому опыту: чем дальше уйдешь от деревни, тем трудней потом, под сумерки, тащиться назад, когда валенки шаркают и спотыкаются от усталости и передозировки кислородом, а поземка догоняет и кусает хозяина в потную шею, потому что, оголяя затылок, на нос постоянно сползает в процессе шагания потертая до шелковой плечи, познавшая за свою долгую жизнь несколько смертей и возрождений, кроличья шапка.

Хорошо на реке зимой, но летнюю Десну я все равно люблю больше. Хотя и возвращаешься летом с реки распухший от алчной жалотерапии всех видов, но при этом и полуневменяемый от аромата трав, от пения птиц и журчанья воды, от дыма костра и от ласковых объятий теплых ветров. Летние каникулы намного длинней зимних, и свет летнего дня протяженней в два раза, поэтому и праздник у реки продолжается летом долго: длится, и длится, и длится – целое лето длится!

Что можно сделать летом такого, чего нельзя сделать зимой? Летом можно, например, будучи двенадцатилетним пятиклассником, прикатившим к реке на велосипеде с огромным тюком на багажнике, расположиться на берегу, разгрузить велосипед, развернуть тугой тюк и долго, до изнеможения, накачивать велосипедным насосом самодельную резиновую лодку, изготовленную из залатанной камеры от трактора «Беларусь». Затем погрузиться вместе с велосипедом на этот замечательный корабль и плыть себе по течению, подгребая бывшими ракетками для настольного тенниса в поисках самого лучшего для рыбалки места. А места – одно другого лучше: обрывы, затоны, старицы, отмели, косы, течения, омуты – выбирай, рыбачок. Но вот беда – всё никак не выбрать! Хорошо бы вон там, с того мыса донки бросить... но нет, там уже занято... А вон в том омуте лещи живут, хитрые, как сам подводный бес, да еще и жутко избалованные рыбаками. Два дня их прикармливай сложной кашей по особому рецепту, какую и королям не

подавали, а после они еще думать будут, снизойти ли им до пареной горошины или выплюнуть ее за недоваренностью или пересоленностью и не попробовать ли вместо нее вон ту макаронину, если она, конечно, подходящего качества, из пшеницы самых твердых сортов и сварена мяконько, специально для благородного лещинового ротика. Но только наши хитрецы-рыбаки умеют и этих хитрованов перехитрять, хотя для этого очень много терпения требуется: часов по пять кряду нужно сидеть, не шевелясь, и пропускать при этом много интересного из жизни берегов и вод. К тому же у меня нет мягкой лепешки из твердой пшеницы, поэтому мы с велосипедом плывем дальше. Открывается вход в старицу. Это очень уютная старица, и если там на ершиную ямку попасть, то с полста ершей за час натягать можно. Они клюют, не дожидаясь червяка, хватают все подряд, лезут в драку – лишь бы другому не досталось: редкие дураки, но веселые. При этом сопливые, колючие, лилоглазые – с ними не замечаешь как время летит, как день проходит, но зато потом, вечером, из них мировая уха получается. Однако, нет, и старица отпадает. Из нее муть струится, значит, ребята с бреднем лазили недавно, всё перебучили, всех жителей распугали, в панику вогнали – тут до завтра делать нечего. А вот там, на течении, хорошо бы поблеснить. Вон как голавли скачут, стрекоз хватают... хорошо бы, да якоря нет и велосипед мешает, торчит ручками во все стороны как коряга. И дальше, дальше проплывают мимо берега с янтарными шапками-стогами – древними пирамидами святой Руси. То ближе они к берегу, то дальше, то группой стоят, то одиноко – в зависимости от того, как расположился луг в пойме речной и от того, как развернулась река. А Десна гуляет по широкой пойме, как красна девица в погоне за бабочкой: то к темному лесу бросится, пробежится вдоль корабельных сосен, даст им в себя поглядеться, прически поправить, потом к дубраве завернет, обойдет ее с трех сторон, осмотрит внимательно и на другую сторону поймы припустит – проверить, что там делается. Иной раз, дурача мускулистого городского байдарочника, гребущего в отпуск, на юг, в сторону Киева, повернет Десна вдруг на север и забавляется, смеется-плещет в борт байдарки, наблюдая как спортсмен-дурачина, бросив весла, с компасом сверяется: не перескочил ли незаметно на волго-донской канал, или в какую-нибудь другую речку, которая его теперь к северному полюсу несет... Но вот уже надоедает ей баловаться, и сделав еще пару зигзагов для куража, катится она степенно и строго посреди

луга, только по прямой, строго по прямой, изображая из себя многоводную, могучую сибирячку. Однако, ненадолго хватает ее терпения выглядеть большой и строгой, и вот уже снова плутает она среди лугов, вбирая в себя вкусные запахи луговых трав: полевицы, пахучего колоска, мятлика, луговика, клевера, тимофеевки, осоки, мышиноного горошка, лисохвоста, овсяницы, белого донника а заодно и пьянящие ароматы озерных камышей и тростников, белых лилий- нимфей и плавающих по тихим водам желтых кубышек. Ведь почему так вкусен чай, заваренный из речной реки? Нет, не только из-да дыма костра и вареных комариков горячего копчения, которых после чаепития всегда обнаружится с добрую сотню на дне чайника, в слое заварки, но и из-за деснянской воды, вобравшей в себя ароматы луга, настоенные за тысячи лет на чистых дождях и вольных ветрах – ароматы тонкие и сильные одновременно, содержащие сладостный фермент «ностальгин», от которого трепещет сердце и который никаким французским парфюмерам, ни в каких лабораториях никогда искусственно не воссоздать.

Но я плыву все дальше и дальше, я высматриваю то место, которое меня соблазнит сегодня. Вон он плес, где в прошлый раз густера клевала, как сумасшедшая. Но там тоже занято. Вот ведь понаехало городских. Развелось, как тараканов. Ну так и ловили бы со своих гранитных берегов, или прямо из троллейбуса: нет, им сюда надо, на наши, кокинские берега... На «Волге» прикатили, смотрите вы... Наверное, вечером будут под транзисторную музыку «сервелат» трескаться. У них даже поговорка такая есть, у городских: «Самая лучшая рыба – это копченая колбаса». Вот и сейчас от них чем-то копчёненьким тянет... Я сглатываю слюну и плыву мимо.

И вот, наконец, еще один поворот реки, и впереди – песчаная отмель при узком пляжике. Делать мне там в плане рыбалки нечего, но если высадиться, то в том месте удобно будет закатить наверх, на луг, мой корабль-камеру, а дальше, метрах в трехста от реки имеется колдовское озеро без дна, с холодной от глубинных ключей и черной, хотя и очень прозрачной водой. Вот туда наведаться стоило бы: а вдруг таинственный черт снова выйдет на игру? Полдня он меня однажды дурачил... Решено!

Я подгребаю к берегу, тащу наверх сначала велосипед, потом лодку. Велосипед прячу в кустах, а камеру качу по лугу к озеру. Проталкиваюсь с ней сквозь ивовые заросли, обдираясь в кровь о дикую ежевику, безбожно

обжигаясь о крапиву трехметрового роста, спотыкаясь о кружево жилистых корней, чихая от едкой пыли пересохшего ила и отплевываясь от тучи мелких крапивных спор, увидевших во мне шанс переезда в более культурные места. Последние метры хлюпаю по грязи, вдавливаясь по колено в серую, вязкую жижу. Но вот и вода. Я плюхаю лодку на кувшинки, кое-как мою ноги, кидаю в лодку рюкзак с удочкой и забираюсь сам. Пробиваться к чистой воде непросто: кувшинки держат. Но все исполнимо, если хорошенько попытеть. Все, выбрались. Теперь погребли на другой конец озера. Там он живет, игрун мой, черт озерный. Если там, над его царством перегнуться с лодки и заглянуть в бездну сквозь ныряльную маску, то можно увидеть завораживающую жизнь глубин: недостижимые, как мечта, взблескивают в темноте зеленоватым золотом озерные бояре – жирные линии, здоровенные, как столовские подносы, но абсолютно неуловимые. Чуть выше над ними серебряными искрами вспыхивают стаи большущих красноперок – придворных дам-аристократок, которых из холодных глубин тоже ничем не выманишь. Однажды я, замирая в сладостном параличе, своими глазами видел, как одна такая красавица размером с велосипед... ну, может, чуть-чуть поменьше, подплыла к моему крючку, ткнулась ртом в вертлявого, рыжего, кокетливого и аппетитного как... как... нет, не нахожу подходящего сравнения... Очень аппетитного, короче, – сам бы съел, если б не для рыб накопано было – навозного червяка, взяла его хвостик себе в рот, подержала, посмотрела на меня, подмигнула – да как плюнет! Я от неожиданности подсек так резко, что червячок сорвался с крючка и стал плавно тонуть. И тут это чудо-краснопёрище изящной дугой приблизилось к червячку снова и быстро, по-деловому, уже без панибратских подмигиваний всосало его в себя, после чего опустилось в холодную тьму и растворилось в ней, оставив по себе лишь немеркнувший серебристо-розовый образ в памяти моей. Однако, помимо этих коварных хулиганок-красноперок, в озере жил еще некто, который играл со мной и дразнился, и которого я видеть не мог, потому что он орудовал на большой глубине – без катушки до него было не дотянуться, и метров семь глубины требовалось установить от поплавка, чтобы соблазнить ЕГО на контакт. Но когда ОН выходил, наконец, на связь, то доводил меня до полного исступления. В последний раз особенно. Опытный подсекальщик, знающий все виды поклевков, я проигрывал ему состязание из раза в раз, из раза в раз, и хоть бы разочек, хотя бы на полсекундочки он

уперся там, внизу, чтобы хотя бы массу его оценить, что ли – черт его побери! Но нет, он все время меня обдуривал. Он «вел» поплавок вбок и вглубь, как чемпион мира по поклевкам, а я делал подсечку точно и профессионально, как чемпион мира по подсечкам, но пустой крючок снова и снова со свистом взлетал над озером и норовил намертво впиться в камышину за спиной или в ивовую ветку, чтобы оборваться на ней. Этот зверь там, внизу, был какой-то призрак с вполне себе материальной пастью, с помощью которой он надо мною и издевался. Он снимал любую наживку: червей больших и маленьких, хлеб, горох, кукурузу, пшено и оставался не то что неуловим – неподсекаем даже! Как будто его не существовало вовсе. Этаким нереальный дух с гигантским, реальным аппетитом. Явный черт, причем очень капризный. То ни гу-гу, как будто сдох или спит на дне беспробудно, то начинает издеваться надо мной по полной программе... Я ненавижу браконьеров, но честное слово, был бы у меня тол или динамит, то бросил бы я ЕМУ и эту наживку, чтобы увидеть, наконец, кто он такой, каков из себя. А вдруг это и впрямь озерный черт собственной персоной? Но даже если это и сам черт, то поймать его тем более необходимо. Вот было бы здорово! Только представить себе: я, советский пионер, ни в каких чертей не верящий, как и положено советскому школьнику-отличнику, притаскиваю первого сентября в класс мокрого черта за хвост, желательнее еще живого, кривляющегося, с рогами, хвостом и копытами. Вот это была бы пионерская сенсация на всю страну! Все его отрицают, а он вот он, голубчик! Существует! Пакостит! Советскую власть позорит! Его можно будет посадить в клетку для кроликов, отпустив их на свободу, или, наоборот, пускай бы он их сожрал. И не надо будет тогда им траву таскать тоннами во время летней практики. До чего же прожорливы эти противные юннатские кролики! И вредные к тому же. Вот видно же: уже объелись, уже не могут больше, а все равно жуют, всем своим видом изображают: еще давай! Лишь бы детей лета лишить!.. Ну да плевать на тех кроликов, не о них речь, их в честь Дня урожая педколлектив все равно съест в учительской за праздничным ужином, так что не о них речь, а об озерном чёрте. Да, хорошо бы его поймать и покончить с этой загадкой раз и навсегда. В «Пионерской правде» тут же сообщили бы красным заголовком: «Пионер из Кокино поймал живого черта!» Это же стопроцентная путевка в Артек!

Так я мечтал и на сей раз, затаившись за толстыми резиновыми бортами своего белорусского корабля, но черт как будто слышал мои мысли и на связь не выходил. Часа два кормил я комаров понапрасну и решил, что еще полчаса и баста – сегодня мой игрун на состязание не выйдет. И то ли на облака я засмотрелся, отвлекся на пару секунд, то ли вздремнул с открытыми глазами, но только в какой-то миг, посмотрев на воду, я на нужном месте своего поплавка не увидел. Его не было! Я протянул руку к удилищу, чтобы проверить, где леска и где поплавок? В этот миг катушка коротко крякнула, и удилище спрыгнуло с лодки и помчалось по воде, все более выставляя вверх комель, разворачиваясь в глубину. Есть, наконец-то! Зацепился, зацепился мой чертяка! Сам зацепился, без подсечки! Сам себя подсек, о-хо-хо-хо!... Трясущимися руками я лихорадочно стал грести вслед за уплывающим удилищем, беспорядочно шлепая по воде старыми, для регаты непригодными, давно списанными в утиль ракетками от настольного тенниса, но мой резиновый дреднот за удилищем никак не поспевал. Между тем удочка остановилась посреди озера, поднялась совсем торчком и ворочалась там, кланяясь на все четыре стороны, как клоун в цирке. Ну и отлично! Сидит! Сидит мой черт! Ну погоди, дядя, ну погоди! Я уже подплываю, сейчас мы сразимся с тобою... Не более десяти метров оставалось мне грести до моей удочки, когда она резко приподнялась из воды и легла на поверхность, слегка утопая катушкой. Я ее подхватил. Метра два лески болтались на конце удилища, но ни поплавка, ни грузила не было. Снова черт меня надул. Я опять проиграл. И на сей раз он опять оказался сильнее. А на слабого, как известно, наваливаются все беды, все норовят обидеть проигравшего. Вот и комары, заметив мое поражение, набросились на меня со всех кустов. Возможно, они решили, что я сейчас умру от горя, перестану сопротивляться и можно будет еще успеть отсосать моей кровушки от всего комариного пуза. А еще они наверняка слышали, как моя горячая кровь стучит у меня в ушах. И туда, в уши, они и устремились, истерично звеня. Я отбивался, как лев, и клал их сотнями, но они брали не умением, а числом, и в конце концов один такой, озверевший от алчности плачидо доминго на форсаже комариного фортиссимо прорвался к моей барабанной перепонке и запел мне прямо в мозг самую грозную и самую героическую свою серенаду. Выковырнуть его оттуда пальцем не получалось, и я попробовал добраться до него острым листом камыша. Все тщетно! Я знал,

что сейчас он допоеет свою кровожадную песнь и вопьется мне в мозги, которые потом ничем уже не почешешь. Я ударил себя ладонью в ухо, надеясь оглушить злодея внезапным перепадом давления, но оглушил лишь сам себя. И тогда, чуть было не опрокинув лодку, я сунул голову в воду и держал ее там, пока в легких не кончился весь воздух. Это помогло. Яростный плачидо стих. Наверное, утоп, захлебнулся, или – как на брянщине говорят: «залился». Слава Богу! Теперь, правда, я мог слышать сигналы из внешнего мира только одним ухом – другое, наполненное водой, отключилось. Хорошо бы попрыгать на одной ноге, но поди-ка попрыгай на резиновой камере. И я, потряхивая полуглухой головой, погреб к месту высадки. А черт остался в озере. Но не радуйся, гад такой, не радуйся! Еще не вечер. Еще померимся, это я тебе твердо обещаю: еще померимся мы силою! И в другой раз лесочка моя потолще будет, да со стальным поводочечком, кусачий ты мой!...

Полуглухой, полусъеденный комарьем, ободранный в кровь, с грязными ногами и крапивными волдырями по всему телу, я выбираюсь на луг и слышу, как там, позади, за кустами бабахнула вода. Это он, черт, послал мне свой издевательский привет. Ладно-ладно, бес болотный, ликуй пока. Но только еще не вечер! Еще не вечер, тварь ты этакая...

Да, еще не вечер, но дело к этому уже клонится. Солнце заглядывает мне в глаза, щекотит ресницы, улыбается мне и моему приключению, моему проигранному состязанию с озерным плутом. И я улыбаюсь солнцу навстречу. Я уже не злюсь больше. Напротив – я в радостном нетерпении прибавляю шаг, толкаю камеру, догоняю ее, убегающую вперед на луговых волнах, пинаю, обзываю дружелюбно, и вот уже мы, набрав скорость, скачем с ней наперегонки и вприпрыжку, а вот уже и река. Пора ставить донки, пора собирать хворост для костра, городить шалаш и делать вылазку к ближайшему стогу за охапкой сена, пора готовиться к вечерней зорьке, к вечернему клеву. Куча восхитительных дел еще впереди и весь долгий, летний, золотистый вечер... И все лето еще! Ну до чего же хорошо жить на свете! До чего же повезло мне родиться, честное слово!

Гроза

То было давно, еще до эры «Москвича». Мы ходили тогда на Десну пешком. У нас еще не было складных, бамбуковых удочек. Наши удочки были самодельные, цельные, длинные, из лещины. И поплавки были самодельные, из гусиных перьев. И грузила тоже – из расплющенных свинцовых пулек от «мелкашки». Только леска и крючки были покупные. Поход на Десну представлял собой очень серьезное мероприятие в те времена, это было большое событие, требовавшее тщательной подготовки и оптимального багажа – чтобы и нужного не забыть, но и лишнего на себе не тащить. Потому что три с половиной километра пешком, с удочками, рюкзаками, сумками, сачками, чайником и едой – это вам не двадцать километров на «Москвиче» на мягких рессорах: это намного тяжелей. Особенно на обратном пути. Да еще если тебе шесть лет от роду. Поэтому каждый лишний плащ или свитер были предметом возможной отбраковки. Да и сам поход был всегда под вопросом, и последнее слово оставалось тут за барометром. От его стрелки зависило счастье или горе. Шел он вверх – и мы отправлялись в славный поход, «падал» – оставались дома, ждать надвигающихся дождей и тосковать по Десне. Иногда я чуть-чуть сдвигал стрелку-метку пониже, чтобы казалось, будто барометр «идет вверх», но у отца в кабинете физики был еще один, другой барометр, так что мелкие фокусы мои обычно не удавались.

Но как-то раз я совершил это мелкое мошенничество снова. Я узнал из случайного разговора с отцом, что неуклюжий студент уронил и разбил барометр в кабинете физики. Рычажки его погнулись и, пожаловался отец, прибор теперь с неизменным постоянством указывает на бурю при ясном небе. И вот после этого в один прекрасный день отец предложил мне пойти на рыбалку. А мы давно уже не были – неделю, наверное, если не больше. Я завизжал от радости и помчался копать червей. Но предварительно заскочил на веранду и постучал по стеклу нашего домашнего барометра. И тут эта скотская машинка выдала невиданный финт: она скакнула через полшкалы в сторону ураганов. Это была явная ошибка: в том углу шкалы стрелка вообще никогда еще не стояла, там ее просто не могло быть – в данном секторе размещалась зона тайфунов, цунами и торнадо. Но у нас в Кокино не бывает тайфунов, цунами и торнадо. Поэтому мне было абсолютно очевидно, что это ошибка прибора, что он тоже сломался – например, из-за паука, который залез в него и волнистую коробочку прибора брюхом своим придавил, или потому что

пружинка поржавела. Мало ли что может случиться со сложной техникой? Но вот вопрос: будет ли все это столь же очевидно и моему папе? Вряд ли. Мой папа верил приборам больше, чем людям – даже таким честным как я. Например, когда ему говорили в магазине: «Тут два кило ровно», то он не верил и проверял, и оказывалось, что если не придерживать весы пальцем, то на чашке лежит товара всего лишь на кило девятьсот пятьдесят. Продавщица смущенно оправдывалась: «Наверно, весы врут». На это папа отвечал: «Техника врать не умеет, у нее нет рта», после чего ему докладывали недостающие пятьдесят грамм. Но то весы, наплевать на них, они рыбалке навредить не могут. Другое дело – дефектный барометр, который может человеку жизнь испортить до самого конца лета. В общем, чтобы не сбивать отца с толку явной ошибкой прибора, я снял барометр с гвоздя, вытащил запорную пружинку с обратной стороны, осторожно вынул из гнезда хитрое устройство с волнистой коробочкой в середине и отогнул стрелку-волосок подальше вверх. Потом собрал всю конструкцию заново и повесил прибор на место. Получилось отлично: стрелка указывала на «ясно», причем в самой верхней части шкалы. Успокоенный и довольный собой, я побежал продолжать сборы. Весь вечер отец, в сомнениях посматривая на небо, говорил: «Вроде парит нехорошо» и шел на веранду стучать по барометру. Но тот, будучи мною «отремонтирован», прыгал между «ясно» и «очень ясно», поэтому отец быстро возвращался, вновь пожимая плечами: «Да нет, вроде бы атмосферное давление высокое, наверное, просто влажность давит». А погода действительно была изумительная! Ни облачка в небе, ни ветерка в природе. О лучшей погоде для рыбалки невозможно и мечтать! Так я уверял отца, но он до самой темноты продолжал сомневаться, и то следил за ласточками, удивляясь, что они так низко летают, то наблюдал за закатом, который казался ему чересчур багровым. Но барометр, несмотря на низко летающих ласточек и на воспаленный закат, упрямо показывал на «ясно», и оно и было «ясно», а поскольку отец верил приборам больше, чем ласточкам, то мы порешили так: если завтра рано утром ничего не изменится в показаниях прибора, и погода будет хорошая, то рыбалке быть! На рассвете стрелка немного упала, но все еще пребывала вблизи зоны «ясно», и поскольку светлеющее небо все еще было идеального качества, то мы отправились к реке.

По дороге отец все еще бурчал про всякие народные приметы, вроде: «Росы нет» и «Что-то птиц не слышно совсем»... Но по мере того, как он все это произносил, мы удалялись от Кокино все дальше и дальше, прошагали уже мимо учхоза и перебрались по шаткому мостику через речку Волосовку. Этим рубежом психологическая точка невозврата была преодолена, все тревожные папины сомнения стали бессмысленными, и мы заговорили о рыбалке, затеяв дискуссию на тему, где будем ловить – на песке или с кручи. Мне больше нравилось с песка, где на мели суетились серебряные сибильки, которые попадались на маленькие шарики хлеба. Отец же предпочитал забрасывать донки с обрыва, где брала крупная рыба, с песчаного же берега на донки садились одни лишь сопливые и колючие бирюки, которые, заглотив крючок до самого хвоста, мирно дремали затем, ничем не выдавая своего присутствия на снасти и, следовательно, снижали этаким безответственным своим поведением КПД лова, занимая слишком долго свято место на крючке. И хотя, по всеобщему заключению, бирюки были самыми вкусными из всех речных рыб, но это было верно только на человеческий вкус, потому что ни сомы, ни щуки, ни жерехи, ни налимы – никто из больших рыб не хватал бирюков в качестве живца, так что поймать с пляжа что-нибудь толковое на донку было маловероятно. Все эти профессиональные нюансы мы с отцом тщательно обсуждали, маршируя по Слободе, а затем и по лугу, над которым поднимался нам навстречу огромный золотой шар солнца. Несмотря на раннее утро, было уже жарко, но воздух оставался очень чист и прозрачен до самого Брянского леса, а небо – пронзительно синим, то есть всё было в полном соответствии с показанием отреставрированного мною барометра.

Мы порешили так: если круча будет свободна, то отец поставит донки там, а ловить удочками мы будем с песка. Круча оказалась свободна, и отец отправился ставить донки. Я, сняв с лески грузило, принялся тягать веселых сибилей с малой глубины. Затем недалеко от меня пристроился и отец со своими длинными удилицами, и стал ловить со дна, замерев и уставившись на поплавки, которые слегка мотало течением туда-сюда. Клева не было. То есть это у отца клева не было – у меня в этом отношении все было в полном порядке. Мои сибилы дрались между собой за предложенный им шарик хлеба, долбали его головами по-футбольному и даже били хвостиками в азарте конкурентной борьбы. Большинству из них мои шарики были не по росту и даже

в рот не помещались. Эта пузатая мелюзга общипывала и обсасывала мой шарик до тех пор, пока он не спадал с крючка, после чего рыбы ясельники разбегались, потеряв интерес. Я им предлагал следующий шарик, и все начиналось сначала. Это действие для непосвященного могло показаться глупым занятием, однако смысл в нем был. В какой-то момент, реагируя на детскую суету, выплывал из глубины взрослый сибиль, чтобы проверить, что за шумный тарарам происходит на его акватории. Возможно, это был их воспитатель или просто сибилечий хулиган, который все отбирает у маленьких. Вот этого-то «дяденьку» я и ждал, он-то мне и был нужен. Я видел, как он, отогнав мелюзгу, подплывает к моему шарик, некоторое время касается его губами, и вдруг шарик исчезает: это «хулиган» взял его мгновенным движением в рот. Тогда я подсекал, и кусочек живого серебра летел на берег. Иной раз рыбка отстегивалась в воздухе и, упав на песок, с помощью виртуозных кувырков и подскоков сразу же направлялась в сторону воды, всегда так точно организовывая свою акробатику, что каждый раз продвигалась исключительно в нужном ей направлении. Вообще-то, сибилей мне чисто по-рыбацки были не нужны. Они слишком нежные рыбёшки, чтобы служить живцами и, проколотые большим крючком через спинку, быстро умирали, осыпаясь мелкой, шелковой чешуей до голубоватого, тусклого тельца. И я бы их с радостью выпускал обратно в речку, если бы не мое обещание Мурке принести ей рыбки. Мурка до того обожала сибилей, что даже рычала на меня, поедая их, дура этакая, как будто это не я ей только что дал их – неужели чтобы тут же отобрать назад и съесть самому? Дура! Я ей много раз втолковывал, что если бы хотел, то сожрал бы их еще по дороге, а не стал тащить пять километров, но она этого не могла понять и продолжала рычать. А сожрав все, как ни в чем не бывало тут же снова ластилась ко мне, благодарила и просила в следующий раз принести еще. Она так отчаянно ласково мурчала при этом, что я ей все прощал, и поэтому снова и снова ловил для нее вожаков сибилей.

Таким образом, я был занят привычным сибилиным делом и лишь краем глаза замечал, что отец скучает. У него все еще не клевало, поэтому он поставил дополнительно пару донок неподалеку, на песке, чтобы хотя бы вкусных бирючков наловить на жаренку.

А знойный день постепенно наваливался на нас горячим компрессом. Воздух был совершенно неподвижен и река, казалось, остановилась тоже. Отец

все чаще озирался, но небо было все таким же прозрачным и густо-синим до самого космоса. Время от времени я макал голову в теплую воду Десны, стараясь воду из реки не пить. Раньше я иногда жулил и прихлебывал незаметно сладкой деснянской водички, но потом однажды мимо нас проплыла дохлая корова с рогами, и я стал опасаться, не попадет ли мне в рот кусок дохлятины. Папа мой тоже остужался, как мог: завязал узлы по углам большого носового платка, изготовив себе таким образом ситцевую шапочку, макал эту шапочку в воду, протирал ею лицо и грудь и потом одевал на голову. «Уф, ну и духотища!», – говорил он, – давно так не парило, не помню вообще, чтобы так парило когда-нибудь. Странно. Неужели барометр сломался? Ничего не понимаю...». Меня точил острый червячок в области желудка, но я помалкивал: погода-то хорошая! Подумаешь – душно! В Африке тоже душно, ну и что? – живут же там люди, и даже танцуют на жаре целый день... Папа ушел проверять донки на обрыв и вернулся ни с чем. «Все черви целы», – доложил он мне.

Прошел еще час, и воздух стал вообще как свинцовый. Вроде бы даже и горячей фанерой запахло в воздухе. Мои сибилы куда-то попрятались от жары, и никакие корочки, которые я им бросал, не выманивали их больше из глубины.

– Знаешь что? – предложил папа, – а пошли-ка мы с тобой домой. Что-то у меня душа не на месте. Как бы эта духота нас не удушила. Что-то не то творится.

– А как же вечерняя зорька?

– До вечерней зорьки еще полдня, а мы уже наполовину вареные. Видишь, не клюет совсем. Такого не бывало никогда. Ни одной рыбки!

– Как это ни одной? А у меня уже одиннадцать сибилей.

– Ну вот и отлично. Мурке хватит.

Было до того душно, что я уже готов был согласиться, но каково по такой дикой жаре домой тащиться? Тут хоть в воду обмакнуться можно, а там, на лугу солнце нас сразу к дороге припаяет. Так я аргументировал.

– Пойдем возле озера посидим в кустах. Там тень есть и кувшинками вкусно пахнет, – предложил я.

– Ладно, пойдем. Только я донки сначала смотаю, – согласился отец. Он поднялся, чтобы идти на кручу, и в этот момент на крайней правой удочке его клюнуло. Поклевка была сильная, уверенная, я увидел ее, показал папе

пальцем, и он, забыв про жару, подкрался к удочке, как кот, замер, потом подсек, и удилище согнулось в дугу. – «Ого-го-го-го! – закричал папа, – неси подхватку скорей!». Но я не успел с подхваткой. Он и без подхватки выбросил на песок здоровенного подлещика, такого большого, что он уже начинал золотиться. Я побежал за садком, а позади меня раздалось новое «Ого-го-го-го», и я увидел через плечо похожую картину, только уже со средней удочкой. Второй подлещик был еще больше первого.

– Вот это да! – кричал я, – вот это да!... – между тем папа подсекал уже третьей удочкой...

И понеслось. Это был не рыбный лов, а какое-то сплошное безумие. На три удочки отец ловить уже не успевал. Клевать начинало почти сразу после заброса, и всё подлещики, и всё крупные. Папа перешел на две удочки, потом не справлялся уже и с двумя. Я нанизывал ему навозных червей и уже не успевал совать подлещиков в садок. Несколько штук я даже выронил в воду и упустил, поскольку они, тяжелые и скользкие, отчаянно выкручивались и бились. Но у меня уже не было времени даже расстраиваться, потому что на место удравшего подлещика требовалось пристроить в садок двух новых. Мы сбились со счета: восемь? двенадцать? пятнадцать? Соблазнившись невиданной удачей отца, я забросил возле него свою сибириную удочку с шариком хлеба и тут же поймал густерку – самую большую рыбину из всех, ловленных мной к этому возрасту. Грамм на двести, как оценил отец мимоходом, на бегу. Ну и тяжелая же была эта густерка, когда я ее подсек! Я думал, что она мне леску оборвет и самого меня в воду утащит, но вот она была у меня в руках, и мне хотелось ощутить заново яростную борьбу за жизнь одного существа и восторг победы над ним другого. Сунув свою густерку (в нашей местности их называют «жестярка») в садок, я тут же забросил удочку снова. И опять поклевка, и опять рыбина – на этот раз подлещик. Третья у меня сошла, четвертая оборвала мне леску и ушла вместе с крючком. Я схватил одну из вакантных удочек отца, забросил ее с трудом, поплавок тут же потянуло вбок, я потащил и понял, что эту рыбу не осилю. Я запросил помощи, и отец, вываживая свою рыбу, стал бороться и с моей, затем сунул мне свою удочку и крикнул: «Просто держи, не тяни, не отпускай, просто держи». А на «моей» удочке оказался лещ – самый настоящий, золотой, килограмма на полтора, и отец его вытащил. Но пока он его вытаскивал тот, что сидел на удочке, которую

держал я, сошел. Но это все равно было уже неважно, потому что безумный клев продолжался. Спятившая рыба жрала так, как будто это был последний день её жизни. Сколько это уже длилось? Час? Два? А, может, минут двадцать всего? – сказать было невозможно, потому что время остановилось, и события происходили вне времени. Рыба уже перестала умещаться в садке.

– Папа, она больше не влезает! – взмолился я, помнится, в отчаянии, и как будто речной бог услышал меня и скомандовал «отбой»: клев прекратился разом. Полностью.

– Все, что ли? – жалобно вскичал папа и повернул ко мне лицо, все еще искаженное азартом, но уже и горьким разочарованием от завершения восхитительного, безумного праздника добычи.

Никогда, никогда не забуду я последовавшей за этим смены выражений на лице отца. Я стоял спиной к западу, а он – передо мной. Потное, азартное лицо его было освещено ярким солнцем, и в глазах его сияли два солнышка. Он счастливо и немного растерянно улыбался. Но вдруг это радостное выражение сменилось сначала растерянностью, а потом он повел взгляд мимо меня и вверх, и с тех пор я знаю, как выглядит ужас в глазах человека. Я резко обернулся в ту же сторону, куда смотрел папа, и испугался сам: на нас напал черный космос!

Знакомая линия горизонта исчезла, и высоко в небе над ярко-зеленым лугом с желтыми стогами стояла бездонно-черная стена. Где-то внутри ее остались, проглоченные ею, дальние холмы, на одном из которых стояло наше родное Кино. Но только не было никакого Кино больше, а была лишь эта черная стена, нависающая над миром с запада и очерченная грозной, очень страшной своими неестественными контурами линией нового, неправдоподобно поднятого дыбом горизонта. Было совершенно очевидно: черный космос падает на Землю. Я попятился, запнулся обо что-то и упал на песок.

– Земля опрокидывается! – закричал я, и еще больше испугался потому, что папа мой молчал. Он не говорил мне, что никто нас не раздавит, он не успокаивал меня, а значит, он думал точно так же.

– Папа, что мы будем делать, этот космос раздавит нас, там же нет воздуха, мне уже и так дышать нечем... папа, тебе есть, чем дышать? – закричал я опять в полной панике. На сей раз папа откликнулся: «Это фронт

грозы. Но это какая-то ужасная гроза. Я таких еще не видал: ни грома, ни молний. Надо срочно уносить отсюда ноги...».

– Это гроза, это не космос?

– Это гроза. Я побегу снимать донки. Сматывай пока удочки...

Отец побежал по берегу, а мне стало немножко спокойней: грозы я боялся, конечно, но не так, как космоса. Гроз я уже успел насмотреться за свою долгую шестилетнюю жизнь. Они очень сильно пугали пушечными ударами и яркими вспышками, но никакого вреда мне не причиняли. Правда, в этой, надвигающейся с запада грозе было что-то особенно страшное. Скоро я понял: жуть исходила не только от угольной черноты этой стены, но и от полной тишины, повисшей над миром. Так тихо может быть только в космосе, где нет воздуха, как я знал от папы. И вот так тихо было как раз сейчас. Тишина была абсолютная. Молчали птицы, молчали кузнечики, не доносилось ни звука из кустов и деревьев, остановилось течение реки. Но молчала и черная стена на западе. Внутри грозы положено биться молниям, громы обязаны лупить артиллерийскими залпами и пугать детей и бабушек, которые начинают плакать и прятаться в шкафы, или быстро креститься и бежать мелкими шажками куда-нибудь под крышу. Тут же все было неподвижно и безмолвно, как в гробу с заколоченной крышкой, и черной стене оставалось только проглотить солнце, чтобы наступил конец света. А к этому все шло: стена медленно и верно двигалась в сторону солнца, а оно, как дурочка, сияло все ярче, стараясь, наподобие обезумевших рыб с их жором, высветиться на тысячу лет вперед. Оно жгло уже так, что прожигало мне череп сверху, сквозь панаму, и подошвы ног снизу, через раскаленный песок. И при этом оно упорно ползло навстречу своей гибели, как будто не замечая этого.

Мне стало до того страшно оставаться одному на берегу, под этой наползающей на меня чернотой, что я помчался вслед за отцом и скоро догнал его. Я бежал за ним и спрашивал: «А мы успеем убежать?». Но папа не отвечал: он задыхался. У него не работало одно легкое, и бегать ему было тяжело, а разговаривать на бегу – тем более. Он стал выбирать одну донку, а я взялся за другую. Обычно папа возражал: боялся, что я оступлюсь и упаду с обрыва в глубокую воду. На сей раз он мне ничего не сказал, и я стал наматывать леску на фанерную рогатуюлку. Вдруг донка уперлась, а потом рванула в моей руке так, что дощечка вырвалась, кувыркнулась в воздухе и

упала на прибрежный кустик внизу у воды. Кто-то больно куснул меня в ладонь: потом выяснилось, что это оказался порез от лески.

– Там большая рыба сидит!, – завизжал я и собрался сигануть вниз, чтобы успеть схватить фанерку, но не успел. Следующий чудовищный рывок состриг половину ивовых листиков с куста, на котором она запуталась, рогулька прыгнула в реку, помчалась против течения и затопла. От возбуждения я забыл на миг про черную тучу за спиной, а когда посмотрел на папу, то увидел, что лицо у того перекошено. Донка в его руке ходила ходуном и звенела: он волок крупную рыбу. Как потом оказалось, он волок сразу трех рыб: налима, леща и мирона. Причем налим сел на здоровенного окуня, и вместе с окунем весил килограмм пять, не меньше, потому что я с трудом отрывал его от земли. Поскольку подхватка осталась лежать на песке, возле удочек, а бежать за ней было уже некогда, то отец стал поднимать мотающихся на поводках рыб прямо на обрыв. Лещ оборвался на полпути и плюхнулся обратно в воду, а наlima отец выволок, и мирона тоже. Этот мирон был небольшой, на полкило веса, но сопротивлялся и дергался так, как будто он главный речной крокодил. Девать рыб было некуда, и папа отбросил их подальше от кручи, а мне велел следить за ними. Налим пополз к берегу прямым ходом, а мирон стал кувыркаться, и я то одного футболил на место, в травяную низинку, то другого оттаскивал за скользкий хвост, набросив на него свою рубашку, потому что голыми руками удержать налима было невозможно. Между тем отец притащил и бросил в ямку большого голавля и еще более крупного жереха и сообщил мне, что из последних трех донок одна оборвана, а две исчезли вместе с колышками: рыба, стало быть, сходила с ума не только у нас там на пляже. Я побежал за папиным рюкзаком, потому что надо было куда-то запихать эту новую рыбу, а папа все это время глядел в небо. Черная стена уже подползала к солнцу, но стало происходить и еще кое-что другое. В природе возник тяжелый рокот, как будто с запада надвигалась танковая армия, сопровождаемая бомбардировщиками. Это не был привычный гром с раскатами, но именно сплошной, густой гул, напоминающий рев огромного бульдозера, подобного тому, который спускался однажды по горе-«поповке» к спущенному кокинскому озеру, чтобы разгрести там ил. От него дрожала земля.

Я принес рюкзак, мы стали заталкивать в него рыбу, причем налим отчаянно сопротивлялся и выскользывал. Потом мы побежали к удочкам, и

папа стал их сматывать лихорадочными движениями, а я вернулся за донками, которые мы забыли на круче. Оказалось, что одна из них еще не смотана, и я стал ее мотать, и тут стена проглотила солнце и отец закричал мне издали: «Брось ее, оставь ее, беги скорей!». Но как я мог бросить донку, на которой болталось мое грузило – из моих пулек выплавленное в алюминиевой ложке. Двадцать пулек на него пошло – полдня копания на студенческом стрельбище! И я спешно мотал леску дальше, а она, конечно же, спуталась в «бороду», и мне становилось все страшней и страшней от надвигающейся темноты. Теперь, когда солнце было проглочено восставшим горизонтом, странная, синяя, плотная тень быстро наползала на землю – как будто мир задвигался в пасть удаву. А рокот все нарастал: танковая армия приближалась. Духота стала тугой, как резина. Она сжала луг с такой силой, что выдавила из трав, из ив, из озерных камышей и луговых стогов густые ароматы: горькие – от ивовых листьев, сладкие – от сена, пьяно-духмяные – от живых еще, нескошенных трав, и пряно-болотные – от камышей и ряски. Рискую наколоться на крючки, я собрал донку в комок и помчался к отцу, схватив снасти в охапку. Я слышал, как бьется сердце у меня в горле. Темнело очень быстро, и когда мы, кое-как рассовав по сумкам, сеткам и рюкзакам добычу, снасти, посуду и одежду, взгромоздили весь этот груз на себя и припустили с луга, оставив на берегу ставшие ненужными наживку и съестные припасы, то курс наш лежал прямо в зловещую ночь, хотя было всего три часа дня.

И тут по лугу раскатился первый удар, словно кто-то гигантской кувалдой сшиб колонну, на которой держалось небо над Десной. В результате, с оглушительным, пугающим ревом и грохотом небо рухнуло на землю и заметалось тут, поднимая тучи пыли. В лицо нам толкнулся и засвистел в удочках горячий, все нарастающий штормовой ветер, и мы увидели, как за деревней от черной стены неба отделилась и стремительно двинулась на нас седая, мерцающая скрытым огнем на угольно-чёрном фоне масса – еще одна водяная стена, внутри которой работала, похоже, сумасшедшая бригада высоковольтных сварщиков. К свисту ветра добавилось густое змеиное шипенье и смачный треск, как будто невидимый великан ломает через колено столетние деревья. Мы побежали навстречу тьме в надежде достичь деревни раньше, чем до нее докатится темно-серая стена. Мы бежали изо всех сил, спотыкаясь в темноте, но скоро стало ясно, что бежать бесполезно, что гора

накроет деревню гораздо раньше, потому что она двигалась в нашу сторону намного быстрее. Мы видели, как стена воды проглотила учхоз на горе, за ним исчезла деревня, потом стена воды перешагнула через шоссе на луг, заметила нас, все еще бегущих ей навстречу, решила, что мы идем в атаку на нее, развернулась слегка и совершенно прицельно, всем фронтом, всей массой своей, с воплем ярости ринулась на нас, крохотных человечков, а также на наш луг и на Десну за нашими спинами. Водяная гора мчалась на нас со скоростью ветра, который она прилежно и с усердием гнала перед собой. Вот уже оставалось до нее сто метров, и пятьдесят, и двадцать, и тогда папа крикнул мне: «Ну, теперь держись!»... После этих слов на нас обрушился Ниагарский водопад.

Через две секунды мы были уже неотделимой частью этой сплошной воды, и нужно было держать рот опущенным и приоткрытым, чтобы не захлебнуться. Зато пить, втягивая в себя воду с губ, можно было сколько угодно, и вода была вкусной, теплой и немного кислой от растворенного в ней электричества. После того, как я пережил первый шок, мне стало на несколько секунд весело, но почти сразу же – опять страшно, ибо вода, не успевая стекать, быстро заливала луг, и дорога очень скоро исчезла из вида окончательно. Теперь, ослепленные рвущими небо молниями, бушующими вокруг нас, мы не видели куда бредем, и постоянно оступаясь, продвигались на ощупь. Попав в родную среду, в плетеной корзинке, прикрытой травой, а также в рюкзаке ожил и забился, просясь на свободу, наш улов. Папа снял удочки с плеча и волок их за собой, вторая рука его занята была корзиной. «Опусти удочку, опусти немедленно!» – крикнул он мне и упал в воду, оступившись на невидимой колее. В мирное время я, пожалуй, стал бы смеяться, но теперь мне было не до веселья. – «Зачем?» – крикнул я ему в ухо, когда он стал на колени, чтобы подняться. «Молния может ударить!» – ответил он и стал озираться. Его связка удочек, которую он выронил при падении, пропала. Поток воды высотой уже выше щиколотки унес ее. «Они где-то тут», – завопил я и побежал назад, хватая воду руками в поисках удочек. Но их нигде не было, их утащило течением. Где-то рядом вспыхнул черный бесшумный столб, меня пронзила тысяча острых игл, и я упал лицом в воду. Когда я поднялся, в глазах у меня плавали синие круги и пятна, а отца нигде не было. Я закричал «Папа!» и пошел наугад. Потом я поскользнулся и провалился в глубину, наверное, в

дорожную колею. Вода была мне по пояс. Я стал барахтаться в панике в этой канаве и почувствовал вдруг, как могучая сила поднимает меня за шиворот. Это папа нашел меня, слава Богу. Он схватил меня за руку и потащил дальше на буксире.

– Удочки!...– проверещал я ему.

– Наплевать на удочки! – крикнул мне папа в ответ. И я понял, что ситуация наша действительно серьезная.

В какой-то момент мы потеряли под ногами вихляющую по лугу дорогу – наверное, сошли с нее на луг. По мере того, как мы продвигались, дно уходило все глубже. Мне вода была уже по грудь, папе – по колено. Вдруг он остановился. Мы оба почувствовали сильное течение, идущее слева. Папа догадался: впереди речка Волосовка, мы держим курс прямо на неё. Она вышла из берегов и бурлила. Хорошо, что мы в нее не свалились: там было бы с ручками даже моему папе, а я бы вообще сразу на дне очутился. Мы осторожно попятились и повернули назад. Теперь мы хотя бы знали, где должна быть дорога. Она шла параллельно Волосовке, метрах в пятидесяти. Папа по грудь, а я по шейку – мы пошли прямо, и скоро действительно стало помельче и потверже под ногами, но зато и более скользко на неровностях автомобильной колеи. Мы повернули направо и теперь уже медленно побрели дальше, нащупывая дорогу под ногами. Торопиться все равно было теперь незачем. Хотя нет, торопиться было нужно: потоп постепенно приближался к моему подбородку. Главной нашей задачей было добраться до шоссеиной насыпи, пока наводнение не добралось до папиной головы. Внезапно прямо перед нами белой синевой полыхнул слепящий столб, и раздался чудовищной силы треск, пробивающий череп и кости. Мой папа поскользнулся, упал и увлек меня за собой под воду. Когда мы вынырнули, кашляя и отплевываясь, у меня в руке уже не было моей удочки, а у отца – корзинки с рыбой. А там, в корзине, сидели мирон, голавль, и еще кто-то. А, Бог с ними! Пускай уплывают, раз им так повезло. А вот мы скоро утонем, подумал я в панике... Скоро вода достанет мне до рта, тогда папа бросит рюкзак и посадит меня на шею, но потом вода дойдет и ему до рта, и он захлебнется, и течение подхватит нас и оттащит к Десне и сбросит в нее, и мы поплывем вниз по течению и будем похожи на ту страшную корову с раздутым животом и мертвыми глазами, залепленными мухами... Это было так жутко себе представить, и мне стало так жалко себя, и

папу, и маму, которая будет смотреть на нас с ужасом, когда нас привезут домой, выловленных баграми из реки возле синего моста, что я завыл и заплакал. В грохоте неба, потоках ливня и постоянно лишаящих зрения вспышках молний папа мой ничего не услышал и моего отчаянья не заметил. Но, наверное, что-то такое он почувствовал, угадал мое прощальное настроение, потому что обернулся, подмигнул мне в зареве очередной молнии и крикнул: «Плыви смело! Кокинцы в Волосовках не тонут!», а потом еще крикнул: «Вспомнишь когда-нибудь эту грозу и роман про нее напишешь!». И мне сразу стало легко на душе и радостно. Конечно, мы не утонем! С таким храбрым папой разве можно утонуть? Нарочно – и то не утонешь! И мне захотелось тоже пошутить, ответить ему добром на добро, веселой шуткой на его шутку, и я прокричал ему пусть даже совершенно не к месту, но очень мудрую русскую поговорку:

– Говно не тонет!

– Что? – не расслышал он за ударом грома.

– Говно не тонет, сказал я!

– Что? – опять не расслышал папа, и я, вспомнив, как мама обозвала его однажды «глухня египетская», громко расхохотался и хохотал до тех пор, пока не хлебнул воды и не закашлялся. А когда я откашлялся, мы уже поднимались по склону шоссейной насыпи. Мы были спасены.

Дождь все еще падал на нас сплошным потоком, и где-то на холме, за Волосовкой, горел, подожженный молнией, то ли дом, то ли сарай. Другие молнии, злые сестры поджигательницы, продолжали густо втыкаться в холм вокруг пожара, радуясь своим преступлениям, и вся пойма Волосовки бурлила и клокотала, но мы уже чувствовали себя в безопасности. Еще раз искупавшись по шейку в мутной воде уже на той стороне большака, мы кое-как добрались до ближайшего деревенского дома и спрятались под навесом крыши. Отсюда, прижавшись спинами к стене дома, мы продолжали наблюдать за улицей-рекой, по которой мчался в сторону Волосовки всякий смытый с лавочек и заборов мусор и домашний скарб: половики, скамейки, стеклянные банки, доски и тарные ящики. Рядом с нами сидела мокрая черная кошка и требовательно мяукала, не сводя яростных желтых глаз с папиного рюкзака. «Они огромные. Если я их тебе дам, то они тебя саму сожрут, дуреха!», – сказал ей папа. Тогда

кошка побежала за угол дома, подпрыгнула, зацепилась одной лапой за наличник, а другой стала бить по стеклу и скрести его. На крыльцо вышла белобрысая девочка с косичками, удивленно посмотрела на нас и объяснила, указывая на кошку: «Я уже думала, что дура етта залилася в речке насовсем. Страсть как рыбку пожрать любит, ажно сама на Волосовке лапою пескарей ловить насобачилась, гляжу поутру – обратно к речке побежала, а тут гроза как вдарить-повдарить... Пошли домой, дуреха, молочка дам!». Папа, оказывается, угадал: кошку звали «Дурехой». Девочка с кошкой удалились в дом, но тут же на крыльце возникла ее точная копия, только в два раза больше ростом. То оказалась ее мать. Женщина посмотрела на нас, всплеснула руками и заголосила: «Алесан Георгич, дак это вы, што ли? А то Анька бачить, люди какие-то на крыльце стоять, а это вы... Откуда вы это мокрые такие взялися, нешто с реки? Это ужасть что за грозу нанесло, у Свиридовых сарайку смыло вместе с поросём. Заходите в дом, вон мальчик ваш уже зубами шшолкает. Счас переодеться дам, молочка топленова. Ну натерпелися вы там, небось, на речке-то! Заходите, заходите, ничё, я подотру. Разве ето вода, которая с ног капает? Вон она, вода, хлещить-бурлить. Вон то вода! Заходите, заходите, заходите, даже и безо всяких разговорчиков...».

Переодетый в длинную, теплую, мужскую байковую рубашку, попив молока с хлебом и поев томленной в русской печи картошки с салом, я заснул прямо за столом, на лавке, а когда проснулся, на улице уже сияло солнце. Гроза еще клубилась над Брянским лесом, и громы еще рычали и рокотали там, но это были уже чужие громы. Отец сидел в саду на скамейке и разговаривал с хозяином дома об урожаях, метеорологии и астрономии, которые он преподавал в техникуме помимо физики. Хозяин соглашался с папой и говорил, что раньше значение звезд было особенно велико, но сейчас уже меньше: сейчас их заменили гироскопы и барометры. И тут я вспомнил про свернутую мною стрелку и понял, что я жулик и мошенник, и что пропавшие удочки – это моя прямая вина. Страшная нравственная проблема навалилась на меня: сознаться отцу в содеянном, или выгнуть стрелку на место, чтобы все оставалось шито-крыто. Одна половинка моя шептала мне: «Ведь мы же не утонули – чего теперь сознаваться зря? Если бы утонули – тогда другое дело...». А другая половинка кричала: «Какой же ты немец, если не признаешься? Немцы – честные!». – «А мы – русские немцы, – хитрила первая

половинка, – а русским немцам немножко пожулить разрешается!». Мы поделились с добрыми хозяевами рыбкой – папа настоял! – причем черная Дуреха кричала при этом так, что хозяйке пришлось пнуть ее ногой за дверь. Потом, по все еще насквозь мокрым и скользким деревенским улицам мы отправились домой, пообещав хозяевам вернуть одежду назавтра. Я тащился вслед за отцом, путаясь в подпоясаной мужской рубашке с чужого плеча и отягощенный все еще неразрешенной проблемой барометра на сердце. У самого Кокино папа снял с меня эту тяжелую моральную ношу одной-единственной замечательной фразой. Он сказал то ли мне, то ли сам себе: «Какой фантастический был клев! Какая рыбалка!». Тяжелый камень сразу скатился у меня с сердца: ну конечно! Не сверни я стрелку барометра – разве был бы у нас в жизни такой фантастический клев, разве случилась бы такая рыбалка, разве наловили бы мы столько рыбы? Да никогда в жизни!

На следующее утро я увидел, как отец вертит в руках барометр и бормочет: «Странно: ведь никогда не обманывал раньше...». Я был абсолютно уверен, что отец имеет в виду барометр, а не меня. Чуть позже, когда папа ушел куда-то, я решил раз и навсегда замести следы своего преступления и снял барометр с гвоздя, чтобы отогнуть стрелку в правильное положение. Но удивительное дело: стрелка была уже разогнута...

Теперь, на обратном пути из Сосновки, когда мы уже подъезжали к Кокино, и я дошел до этого места своих воспоминаний о **той** грозе, отец засмеялся: «А ведь я и правда имел в виду барометр тогда. Я никогда не сомневался, что ты у меня – честный мальчик», – и он лукаво подмигнул мне.

– Да? А кто стрелку разогнул?

– Что? А разве она была согнута? – и отец подмигнул мне снова.

Мы стали смеяться, и я вспомнил напоследок, как на следующий день после **той** грозы я, вспомнив слова отца в критический момент нашего спасения о романе, который мне нужно написать, сел писать этот самый роман про грозу. И сразу понял, какое это немыслимо трудное дело – писать романы. После первых слов: «Задрезбезжал рассвет!» дело дальше не пошло. У меня не хватало достаточно ярких слов для описания вчерашнего ужаса. Я пошел к маме жаловаться. Она прочла мое произведение, сказала, что следует писать «забрезжил», а не «задрезбезжал», и что восклицательный знак после первой

фразы тоже не нужен. После этого мама объяснила мне, что по свежим впечатлениям писать очень трудно, по горячим следам пишут только журналисты, а у настоящего писателя материал обязательно должен отлежаться.

Я верил своей маме абсолютно и потому отложил работу над романом. Я только спросил её ещё, как я узнаю, что материал отлежался. Мама ответила: «Ты это почувствуешь». Я стал ждать. Шестьдесят лет спустя я почувствовал однажды утром, что материал отлежался и сел писать книгу под названием «Пик коммунизма». Я начал с описания той грозы, а получилось вот что...

Когда мы поднялись на кокинский холм, быстро светлеющие облака впереди расступились вдруг, и над Кокино, как оно и положено, воссияло яркое солнце.

Предсказатель

Говорят, что дядя Ваня из пятиэтажки – тот самый «похоронный» пьяница Пушкинсон, который в свое время, когда я был еще маленький, приходил к нам на поминки голавля и который ухитрился дожить до девяноста пяти лет наперекор всем алкогольным статистикам – теперь уже совсем седой, полуслепой и полуглухой, предсказал пожар в клубе. К слову сказать, дядя Ваня – единственный человек, пожалуй, которому пожар в клубе пошел на пользу. Теперь к дяде Ване ходят любители чудес. За два дня до пожара, свидетельствовали внучка дяди Вани и ее муж, он ночью стал вдруг кричать: «Горит! Горит!». Когда к нему прибежали, думая, что он снова курил в кровати и гасил окурки о матрац, оказалось, что дядя Ваня кричит во сне. Его растолкали и даже перевернули, чтобы убедиться, что горит не под ним. Но под ним было только мокро и поэтому гореть не могло, а дядя Ваня объяснил спросонок, что ему причудилась культурная революция с китайцами во главе. А через два дня сгорел клуб. Внимательные к фактам люди быстро связали одно с другим, и дядя Ваня прославился как ясновидец. Каждому ведь почетно иметь свою бабу Вангу в доме. Вот после пожара к дяде Ване и начала протаптываться народная тропа. Ему подносят шкалик, и он с поборота – много ли надо старенькому пропойце – начинает вещать всякую околесицу. Такого рода чушь дядя Ваня плетёт уже много лет, но если раньше считалось, что старый

«Хлюгер» конкретно «съехал башкой», или, по-научному, впал в маразм, то теперь народ осенило вдруг, что великий кокинский панихидный поэт Пушкинсон, прорвав тесные рамки своего бывшего поэтического таланта, перешёл на более высокий уровень духовного творчества – на притчи по типу тех, которыми говорил с народом Иисус Христос. Отсюда следовало, что из дяди Ваниного бреда необходимо выбрать ключевые слова, чтобы расшифровать глубокий смысл его предсказаний.

Например, Валентине из сорок второго дома дядя Ваня наговорил много чего. Бубнил почти целый час, пока не заснул, но она запомнила почему-то только три фразы: «Болт на десять», «Фофан пестрожопый» и «Как к ангелу небесному и с папирсой». И вдруг, ровно на десятый день после пророчества заявляется к Валентине **с папирсой** во рту армянский ухажер, бросивший ее когда-то с пузом и отсутствовавший десять лет. Теперь он высказал пожелание остаться с ней навсегда (о том, что его повыгоняли отовсюду, откуда вообще можно человека выгнать, в том числе из тюрьмы, и что он решил зайти на второй круг, он не упомянул). Но что вы думаете он сказал, этот «**Фофан**», который увидел свою дочку в первый раз? Он произнес: «Какая красавица, слющай! Как ангел нэбэсний!». Представляете? – «**Как ангел небесный**», – сказал он! Вот и не верь после этого дяде Ване. Внучка его, Надька, сначала гоняла клиентов веником, а потом стала брать с них деньги за прием, и ей это в конце концов понравилось. Теперь она день и ночь молится, чтобы дядя Ваня прожил подольше, матрац из-под него каждый день сушит, постель меняет регулярно и комнату проветривает. Дядя Ваня как будто в санаторий попал. И ведь что характерно: он свой «санаторий», если вспомнить его былые вопли с балкона, тоже предсказал! Древний дед Кузнецов, плотник, вспоминает:

– Ийду я у в чувхоз мима яго дома, а ён вопить мяне сверьху: – «етта ты, кричить, Кузнец, пидор старый, што ли, шкандыбаишь тама? Ноздрями чую, што ты, кричить. Штаны помой, кричить, а то волки тя учують!» – Юмор в яго такой, ага. – «У в «Русича», пензею пропивать чешишь, нябось, што ли?» – кричить ён мяне. Тёмный вы усе народ, кричить, тьмнота няпролазная. А в мене тут благодать, – кричить, – сонца светить, глянь, Трускавец, одно слово. А то заходь с пузыриком, кричить, на обратном-то путю, покалякаим туды-сюды-обратно, научную дегустацию пузырику твайму иделаем. В мяне сялёдочка

ёсь... Так што заходи. Покажу тебе чистый трускавец культурной жизни!», – кричить...

Все усекли? Все ключевое слово «Трускавец» уловили? Вот это оно и было – дяди Ванино самопредсказание насчет санатория. Так что, получается, свою собственную счастливую старость через видение «чистого Трускавца» дядя Ваня предусмотрел тоже. В дяди Ванин дар поверили в конце концов все вокруг, в том числе скептики с дипломами. Даже Надькины недоброжелательные соседи снизу перестали требовать, чтобы Надька деда в ванну переложила, потому что, дескать – «Весь потолок уже проссал, пес ваш старый, уже и медный купорос не берёт!..». Теперь же соседи заткнулись, наконец, чтобы не предсказал им старый пес со злости какого-нибудь ещё большего несчастья на их голову. Махнули рукой: «А, пускай себе ссыт на здоровье. Всё одно недолго уже терпеть осталось – тогда и отмоем».

Может возникнуть вопрос: почему выживший из ума алкаш вообще возник здесь, в конце светлой и нежной книги о Кокино? Неужели этот образ является настолько знаменательным и определяющим для жизни и искусства, чтобы можно было доверить ему подведение черты под трудом, посвященным сложной и славной эпохе? Но – минуточку терпения! Объясняю: дядя Ваня появился здесь не случайно. Он вписался сюда благодаря глобусу. Тому самому глобусу, который призван спасти человечество, а возможно, уже и спас его.

История эта такова: правнука дяди Вани – тоже Ваню – за хорошую учебу в школе наградили в конце учебного года синим глобусом. Дядя Ваня был настолько очарован наградой правнука и так канючил, что школьник вынужден был дать ему глобус поиграться. Часами рассматривал дядя Ваня страны и континенты, тер их пальцем и качал головой, обуреваемый воспоминаниями и эмоциями политического характера. Время от времени он произносил что-нибудь мудрое и вполне трезво звучащее, типа: «Да, кубинцы – молодцы!», или: «А вот эти, и эти, и эти – суки распоследние!» – и руки его начинали трястись от негодования. Однажды многочисленные "распоследние суки" на глобусе довели дядю Ваню до того, что он в ярости швырнул глобус с балкона. Почему он это сделал – спрашивать не надо. Нострадамусам таких вопросов не задают, они и сами не знают почему им приходят видения и с какой целью. В

общем, выбросил и выбросил – дело не в этом. Важно то, что произошло с самим глобусом. А он упал на обломок кирпича на козырьке первого этажа и был пробит им насквозь. Но изюминка, опять же, состоит не в самом этом факте, а в том – в каком месте был пробит глобус. Пробит же он оказался на месте Соединенных Штатов Америки: прямо по центру!

Вот так: сатанинская страна исчезла из Ванечкиной картины мира! При этом России ничего не сделалось! Этим Надя и успокаивала плачущего сына, притащившего с улицы испорченный глобус. Но как же обрадовался вещей дядя Ваня, увидев покалеченный глобус! Он совал кулак в дырку и кричал:

– Колбаса по рецепту, ветеранам без очереди!

И далее:

– Дободалась, курва рогатая!

И, наконец:

– Все свободны!!!

Над первой фразой предсказателя толкователи ломают головы до сих пор, зато вторая и третья притчи кокинского Нострадамуса расшифрованы были легко: "рогатая курва" – это статуя Свободы, а вследствие того, что она "дободалась", то есть сгнула в преисподнюю глобусова разлома, все на Земле теперь свободны. Следовательно, войны больше не будет. А это значит:

мир спасен!

К этим замечательным словам добавить просто нечего. Эти слова апофеозны. Они достойно завершают нашу повесть. И очень важно не забывать, что спасение мира пришло не из какого-нибудь там Совета Безопасности при ООН, а из села Кокино Выгоничского района Брянской области, расположенного в центре Вселенной, и авторами спасения человечества явились кокинский ясновидящий дядя Ваня и его правнук-отличник Ванечка.

Да здравствует дядя Ваня!

Да здравствует Кокино!

Главы из книги Игоря Шенфельда "Пик коммунизма" (Москва, 2024).